

**СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВ**

КРАМОЛА,

ДОЛЯ

Крамола

Сергей Алексеев

Крамола. Доля

«Алексеев Сергей»

1991

Алексеев С. Т.

Крамола. Доля / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей»,
1991 — (Крамола)

Роман «Крамола» – это размышление об истоках и последствиях беспощадного русского бунта, Октябрьской революции и Гражданской войны, особый взгляд на прошлое и будущее России, попытка понять роль героя, антигероя и простого человека в судьбе государства, определить роковые моменты истории, когда каждый обязан сделать нравственный выбор и нести за него ответственность. Действие второй книги – «Доля» – охватывает период с 1920-го по 1971 год. Андрей Березин хотел стать учителем истории в гимназии, а судьба превратила его в «карающую руку революции», в палача и жертву одновременно. И единственным выходом бывшему комполка Красной армии кажется необходимость найти некогда явленную то ли во сне, то ли в реальности страну Гармонию в таежных лесах, где зимой зреют яблоки, а люди живут в Мире, Любви и Труде. Он должен увидеть будущее в своих детях и внуках. А детям и внукам тех, кто выжил или сгинул в смерче революционного бунта, предстоит научиться прощать палачей, глядя на их жертвы...

© Алексеев С. Т., 1991

© Алексеев Сергей, 1991

Содержание

1. В год 1931...	5
2. В год 1920...	14
3. В год 1931...	32
4. В год 1920...	50
5. В год 1919...	64
6. В год 1920...	75
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Сергей Алексеев

Доля

1. В год 1931...

После долгого, безрадостного ненастья ночью вызвездило, и утром Вербного воскресенья над холодной землей воссияло солнце. А уже к полудню над синей далью забрезжило зыбкое, жаркое марево и жирная влажно-черная почва в запущенном огороде бывшей архиерейской усадьбы окурилась теплым ладанным паром. Птицы, залетая в конюшню, теребили с линяющих лошадей шерсть, безбоязненно сновали возле человеческих рук, лезли в кормушки за овсом, клевали его у самых копыт и, вконец одурев от тепла и весенней суеты, не могли найти выхода и бились об оконные стекла.

Никодим ворчал на птиц, выпуская их на волю, и, не скрываясь, громко ругал нынешних постояльцев усадьбы. Пол в конюшне прогнил, иструхлявел и теперь смешивался с навозом. Никодим менял половицы, однако сытые выездные кони к весне и день и ночь копытили обветшалый пол, пробивая новые дыры. При случае старый конюх жаловался своему новому хозяину – начальнику уездного ГПУ Марону, просил сделать ремонт, но тот лишь вглядывался в лицо Никодима, будто силился вспомнить, кто это перед ним, и хмурил широкие, разлапистые брови. Изредка, мимоходом, бросал: дескать, мы в этом помещении временно, потерпишь и ты, и кони переждут. Кучера же, лихие, крутые парни, вовсе не хотели слушать старика. Говорили: сначала социализм построим, потом и до конюшен черед дойдет. Им только б кони накормлены были да ко времени заложены. Взяться самому перестелить полы уже не было сил и здоровья, поэтому Никодим кое-как забучивал дыры кирпичным крошевом, забивал досками – только бы лошади ног не ломали. Докормливать старика оказалось некому, и он держался за свое место при бывшем архиерейском дворе, за каморку в каретном сарае, где ему позволили жить, и молился, чтоб умереть на ногах, в одночасье.

Никодим выметал навоз из конюшен, полюбовался на ведренный, тихий денек и, перекрестившись на пустые маковки домашней церкви, пошел к бывшим архиерейским погребам. Это место на усадьбе огородили новым высоким забором, а старый заплот из лиственничного половья остался внутри и теперь годился разве что на починку полов в денниках. Ходить сюда запрещалось: у калитки стоял часовой с наганом, однако старика пускали без слов, зная его нужду.

Оказавшись за калиткой, Никодим ушел за погребом и начал вынимать пластины из заплота. Столбы подгнили, перекошились, и колотые пополам бревна закусывало в пазах. Он огляделся, подыскивая стяжок, и услышал тихую молитву. Приглушенный женский голос нашептывал псалмы, и Никодиму сначала почудилось, будто пение идет из погребов. Он перекрестился, озираясь, но когда приблизился к новому забору, понял, что поют за ним. Прильнув к щели, старик увидел женщину в монашеском одеянии и худосочного, с птичьей шеей, старичка с букетом желтеющей вербы. Лиц он не рассмотрел, да и фигуры-то людей видел всего мгновение, однако каким-то чутьем узнал обоих, а узнав, заторопился. Прихватив первую попавшуюся доску, он потрусил мимо часового к конюшне и там, прислонив ношу к стене, отдышался. «Неужто живые еще? – радовался и сомневался старик. – Ведь и думать не думал...» Никодим вышел за ворота и тут же увидел мать Мелитину. Привстав на каменное основание забора, она пыталась вставить веточку вербы в железную трубку над воротами, прибитую здесь, чтобы по праздникам вывешивать красный флаг. Прошка Грех, от старости ставший совсем маленьким, мальчиковатым, подсоблял ей, придерживая за длинный подол.

– Матушка, – позвал Никодим и, сам того не ожидая, заплакал. – Неужто жива, матушка...

Мать Мелитина вставила-таки вербу и, оглянувшись на старика, медленно спустилась на землю.

– Ой, Никодим... – выдохнула она и враз ослабла. – Благодарю Тя, Господи... Не чаяла, а вот и дом стоит, и ты живой. Чудилось, и вовсе конец света, ан нет, до срока думала, грешница. Есть ныне и свет Божий, и праздник Вербный.

– Пошли-ка, дочка, – тоненько позвал Прошка Грех и потянул за подол. – Далеко нам идти...

– Тятенька, ты Никодима-то не узнал? – тихо засмеялась мать Мелитина. – Помнишь, кучером-то был у архиерея, у отца Даниила?

Прошка открыл беззубый рот, поморгал слезящимися глазами.

– Кучеров-то у нас было – упомнишь ли? – вздохнул он. – Одних карет трое запрягли...

– Что ж мы эдак-то, у ворот? – спохватился Никодим. – В избу заходите. Поди, с дороги приустили.

– А ты все здесь живешь? – тихо вздохнула мать Мелитина. – Одного тебя с места не струнули...

– Хотели, да что с меня проку? – Старик утер глаза шершавой рукой. – Я ведь конями всю жизнь правил. Нынче и коней не дают... Ну, айдате, гостеньки дорогие, пока часовой-то не видит, пробежим. Воскресенье, так нет никого. Не то ругают, чтоб посторонние не шлялись. Учреждение как-никак...

Он провел гостей на задний двор и впустил в каморку, отгороженную в каретном сарае. Засуетился, усаживая куда получше и освобождая место от чиненых хомутов и седелок. Потом взялся за самовар.

– Нынче в хоромах-то ГПУ помещается, – пояснил он на ходу. – Меня конюхом оставили. Я в юности конюшил, и вот в старости... При конях ниже чина и не бывает. Да что говорить? Теперь всех людей в чине понизили. А кого нельзя ниже, и вовсе... под ликвидацию... Откуда вы-то идете? Где жили столько лет?

Мать Мелитина осмотрелась, взяла из рук Прошки три ветки вербы и подоткнула к божничке, помолилась.

– Издалека идем, с самой зимы пробираемся, – сказала она. – Тятенька вот совсем обезножел. Где подвезут, где как... А жили мы под городом Туруханском. Как срок нам вышел, так и тронулись в путь. Общиной шли, в шестнадцать душ. Иных по пути Господь прибрал, иные по домам вернулись, иные далее пошли, аж в саму Россию. Вот и мы добрались. Жительство нам под Барабинском определили, да куда же мы из родных мест пойдём?

– Не пойдём, – подтвердил Прошка Грех и, отщипнув губами вербную почку, стал валять ее во рту. Мать Мелитина отобрала у него ветки, а Прошка спрятал почку в кулачок и затих.

– Не встречал ли моих, Никодим? – вдруг спросила она и боязливо умолкла.

– Разве у тебя оставался кто? – насторожился старик. – Будто все вышли...

– Сын! Сыночек мой оставался!

Никодим поправил самоварную трубу, ощупал свои руки – время тянул, не хотел говорить. А видно – знал, знал что-то об Андрее!

– Барабинская – плохое место, – горестно сообщил старик. – Голо там, степь, волками покрещенная, и более ничего. Сколь бы ни ехал – все буран, буран... Может, дома останетесь? Я завтра похлопотать могу, попросить за вас. Прокопий эвон какой стал, не дойдешь с ним, матушка. Может, начальник-то, Марон, войдет в положение, оставит. Бывает, оставляют... Завтра он будет в ходок садиться, я и попрошу. Вот бы только с жильством определиться. Пока-то на постой ко мне, а там видно будет...

Мать Мелитина терпеливо ждала, не сводя глаз с сутулой стариковской спины. Когда Никодим замолчал, то стало слышно, как за стеной пугливо фыркают кони.

– Благодарствуйте, – проронила она. – Не будет мне ни места, ни житья, пока сыночка своего не найду. Тятеньку бы вот только устроить да подлечить, на родные могилки взглянуть...

– Искать пойдешь? – вдруг спросил старик.

– Кто же его поищет, если не я? – изумилась мать Мелитина. – Кому он еще нужен так, как мне?

Никодим оглядел чиненую-перечиненую рясу, из-под которой торчали носки разбитых яловых сапог, и опустился на лавку рядом с монахиней.

– А нужна ли ты ему? – Он глядел в пол. – Давно я ничего не слышал про твоего сына. Раньше говорили, большим человеком в Красноярске был. Коль нынче ничего не слышать, верно, еще большим сделался. В столице где-нито живет, поди-ко...

– Коль большой начальник и живет хорошо, так слух бы был, – не согласилась мать Мелитина. – Народ бы сказывал...

– Эх, матушка, – пожалел старик. – При нынешней власти всякие начальники есть. Мелконьких-то сразу видать. Эвон ходят, револьверишками трясут – строжатся. Насмотрелся я тут всякого, повидал уж... А большие начальники, они мягонькие, встренешь на улице и не подумаешь. Да они и по улицам-то не ходят. Пронесутся эдак – токо и видел. Народ стоит гадают: кто проехал?.. А есть, матушка, совсем чудные, навроде тайных советников. Раньше тайный советник грудь колесом ходил, у народа на глазах, и за версту было видно, какой он тайный. Нынешний, будто кошка ночью, шмыгнет мимо – и нет его. Шепотком одно словечко скажет – эти, что народ мордуют, аж трясутся со страху. И такие дела творят...

– Что же он, тайный теперь? – горестно спросила мать Мелитина.

Никодим ссутулился еще больше и, раздумывая, теребил клочковатую пегую бороду.

– Они ведь меня в расчет не берут, – наконец сказал он с хитрецей в голосе. – Думают, старик, из ума выжил... А я все примечаю.

– Где же его искать, если скрытно живет?

– Ты, матушка, не бери в голову, что я болтаю, – неожиданно заявил старик. – Может, он вовсе и не тайный, а просто знаясь не желает с тобой. Может, он отрекся от родителей? Нынче ведь так пошло: не по совести живут – по выгоде. Иначе-то бы похлопотал за мать, из ссылки выручил. Коли большой начальник, дак что ему стоит?

– Не давала драть, когда поперек лавки лежал, – вмешался Прошка Грех. – Я бы скоро ума вставил. Дак нет, в музыку с ними играла, песни пела. Потому на старости лет и ходимыкаемся.

– Не сердись, тятенька, – ласково попросила мать Мелитина. – Кто же знал, что дома нашего не будет? Не наша на то воля.

– Да уж не наша, – согласился Никодим, оживляясь. – Не слушай меня, ищи своего сына. Я вот один, так и искать некого... Ну, вы располагайтесь, сапоги-то хоть снимите, посушить надо. Я сей же час печку подтоплю...

– Не хлопочи, Никодим, – остановила его мать Мелитина. – Мы в обитель свою пойдем. Там где и притулимся. Много ли надо...

– Что ты, матушка! – замахал руками старик. – К обители теперь и близко не подпускают. И не думай даже. Там нынче тоже учреждение.

– Как же? – испугалась она. – А слыхала – пусто там и окна повыбиты...

– Было пусто, да заселили, – сообщил Никодим. – Уж скоро год как.

– А могилки?.. Ведь сыночек мой там, Сашенька! И деверь мой, отец Даниил... Как же они-то?

– Про могилки не знаю, матушка, – загоревал старик. – Давно не был. Теперь вовсе не пускают, не поглядишь. А кого пускают, у того уже не спросишь.

– Думала, хоть Сашеньку искать не придется, – сокрушенно вздохнула мать Мелитина. – Но и его могилки не увидеть... Кто же там нынче живет, Никодим? Раз не пускают?

– Люди, матушка, люди...

– Жива ли Богородица-то? – всполошилась мать Мелитина. – Над воротами? Икона-то?..

– Жива, – обрадовал Никодим. – Видел издалека...

Они оба замолкли, и расходившийся самовар засопел, засвистел милицейской трелью. Но в каморке стало совсем тягостно, и Никодим, взбодряя себя, заговорил, забалагурил:

– Вот и чай поспел! Угощать нечем, да и Пост Великий, дак хоть чаю вволюшку напьемся! Как бывало у покойничка-владыки...

– Не время нынче чаи распивать, – вдруг решительно и строго сказала мать Мелитина. – Пойду сыновей искать. Пойду. Страстную неделю проживу, помолюсь у ворот обители, да и тронусь... Есть ли у тебя шайка или лохань какая?

– Да есть, – засуетился расстроенный Никодим и достал из-под лавки шайку. – Конечно, у меня вам не житье... И мне тут самому какое житье? Да я привык. Человека отучить трудно, а приучить-то...

Мать Мелитина налила из самовара в шайку кипятка, разбавила его холодной водой и, стащив с Прошки Греха большеватые солдатские ботинки, стала мыть ему ноги. Иссохшие, костлявые ступни отливали смертной синевой, и, похоже, мозоли уже не набивались на этих ногах, хотя кожа была тонкой и почти прозрачной. Прошка блаженно прикрыл глаза и вдруг сказал радостно, с какой-то детской хвастливостью:

– Я к Боженьке пойду! Мне к Боженьке надо!

Над черными коваными воротами монастыря, в лепном золоченом киоте сияла в вечерних лучах икона Умиления Богоматери. Все было здесь как прежде: вишневый камень стен, белый храм на фоне корабельных желтых сосен и сизый отблеск полой воды в излучине Повоя. Казалось, минет вечность, а в этом покойном месте ничего не произойдет и не изменится, пока встает над землей солнце и пока Матерь Божия держит Сына на руках. Но чем ближе подходила мать Мелитина к своей бывшей обители, тем сильнее заходило сердце от печали и тяжелел взятый на закорки, почти невесомый отец, Прошка Грех. И нельзя было поднять руки для крестного знамения...

По гребню стен, над аркой ворот и над киотом тянулась колючая проволока, а за нею проглядывали темные окна длинных барачков. По лику Богоматери, по ее рукам и одеждам струились черные потеки.

У ворот, пиная камешки, ходил стрелок с винтовкой.

Мать Мелитина спустила Прошку на землю, дала ему в руки палку, и он остался стоять, подрагивая, словно только что вылупившийся цыпленок. Часовой рассматривал пришедших с любопытством и поддегивал на носу очки в железной оправе. Великоватая буденовка висела на ушах, придавая ему какой-то пришибленный и нелепый вид. Будь он парнишкой – все бы ничего, не привык к казенной одежде, не приносилось еще военное, а этому наверняка под тридцать. Значит, из интеллигентской семьи и служит без году неделя. Стороннему человеку всегда кажется, что солдаты, монахи и каторжники на одно лицо. А они же такие разные! И душа каждого кричит: нет! Я не такой, как все! И если не видеть и не слышать этого – навряд ли пережить бы туруханскую ссылку...

Она приблизилась к часовому и, поклонившись иконе, тихо поздоровалась. Стрелок тотчас ответил ей. И лишь мгновение спустя спохватился, подбросил винтовку на плечо.

– Назад, – неуверенно сказал он. – Подходить к воротам запрещено!

– Не к воротам я пришла, батюшка, – ласково отозвалась мать Мелитина. – К иконе. Ведь праздник сегодня. Неужто и икона Богородицы под твоей охраной?

Стрелок покосился вверх, пожал плечами:

– Про икону не приказывали...

– Так уж пусти к иконе, – попросилась она. – В праздник не пустить – грех великий.

Часовой смутился, поддернул очки.

– Разговаривать на посту нельзя.

– А ты молчи, – утешила его мать Мелитина. – И помоги-ка мне вербушку положить. Сама не достану, высоко...

Стрелок окончательно растерялся, и по его тонкому, чувственному лицу скользнула едва заметная гримаса досады. Он словно говорил про себя: «Почему именно в мое дежурство принесла их нелегкая? Теперь придется что-то делать». Мать же Мелитина уже не сомневалась, что стрелок не откажет. Он служил недолго и был еще совестливым, и люди перед его глазами еще не были на одно лицо. Она протянула часовому веточку, и тот взял. А до киота было высоко, пришлось бы взбираться по воротам под свод арки, однако стрелок вдруг скинул с плеча винтовку, примкнул штык и поднял на нем вербу к самой иконе. Пристроив там веточку, он обернулся к матери Мелитине уже радостный от своей догадливости и сноровки.

– Храни тебя Господь. – Она перекрестила стрелка, и тот, сняв буденовку, поклонился. – Скажи мне, сынок, цел ли погост у храма?

– Могилы? – Он оглянулся назад, на ворота. – Могилы есть, да... только кресты сняли. В окна вставили, в бараки...

– В окна? – испуганно переспросила мать Мелитина. – Господи, зачем же в окна?

– А вместо решеток, – объяснил стрелок и втянул голову в плечи. – Не все сняли, только железные, кованые, с узором.

Прошка Грех приковылял ближе к воротам и встал, прислушиваясь. Белесые глаза его оживились, открылся вваленный рот.

– Пускают? Али не пускают? – прошамкал он. – Спроси-ка толком-то, дочка.

Мать Мелитина спохватилась, попросила ласково:

– Пусти нас, сынок. Мы только на могилки глянем да вербочки положим.

– Не могу я, матушка, – почти взмолился стрелок. – Никак нельзя!

– Да ведь мы на минутку. И уйдем. Столько верст прошли...

– Пожалейте меня, ей-богу! Накажут строго, не могу. Начкар – человек суровый...

– Ну, Бог с тобой, – согласилась мать Мелитина. – Тогда вот вербушки возьми да положи сам. Кресты каменные, должны стоять...

Стрелок взял вербу и с облегчением, будто вынырнув из воды, хватил воздуха, сунул ветки под шинель.

– Положу, матушка, – начал он, однако низкий и звучный скрип железной калитки ударил по ушам. Часовой вытянулся, и очки поползли на кончик носа. Дрожащей рукой он спрятал вербные сережки за пазуху и вздрогнул от низкого сильного голоса:

– Деревнин! Что за базар на посту?!

Из калиточного проема выступил человек в военном, заложил руки за спину, оглядывая посторонних, перевел взгляд на стрелка:

– Взятки брать? – Он выхватил из-под шинели стрелка вербу, повертел в руке, постучал букетом по хромовому сапогу. – Та-ак... В чем дело?

Прошка Грех вдруг поднял палку, замахнулся на военного.

– Нехристь, так твою мать! – заругался он. – Ныне везде вход позволен! Ныне и в Иерусалим пускают!

Стрелок слегка успокоился и стоял, опустив глаза. Мать Мелитина взяла у военного вербу и оттеснила Прошку. Военный усмехнулся, мотнул головой:

– Погляди на них! Вражьи недобитки... К кому пришла?!

– К сыну, – сказала мать Мелитина. – И к деверю.

– За что сидят?

– Ни за что.

– Все вы ни за что!

– Они в могилах, – несмело вставил часовой и тут же поправился: – Давно похоронены.

На погосте.

Военный стрельнул прищуренным глазом в его сторону, сказал, добрея и теряя интерес:

– Тут не музей и не проходной двор. Учреждение... Идите-ка домой.

Мать Мелитина подняла глаза к иконе, перекрестившись, попросила:

– Прости его, Господи...

Военный машинально проследил за ее взглядом, качнулся на носках – скрипнули ухоженные сапоги.

– А вербу дай, – вдруг сказал он. – Так и быть, положу... Кому только? Фамилии?

– Нет у них фамилий, – сказала мать Мелитина. – Только имена. Александр и Даниил.

Рядом лежат.

– Ладно... – Он помедлил. – А твоя как фамилия?

– И у меня ее нет, – проронила мать Мелитина. – Без нужды нам фамилия.

– Документы-то есть? Ну-ка предъяви! – посуровел военный.

Мать Мелитина неторопливо достала выданную в Туруханске бумагу, где говорилось об отбытии ссылки и направлении на жительство под Барабинск. Военный кашлянул и усмехнулся:

– Говоришь – нету... Березина твоя фамилия, Любовь Прокопьевна. Или отвыкла от своей фамилии в монастырях-то?

Он уже совсем подобрел, ему хотелось шутить и, может быть, как-то развеселиться, коротая воскресное дежурство.

– Отвыкла, – призналась мать Мелитина.

– А теперь привыкай, хватит. Женщина ты еще не старая, можно и замуж пойти. Чего ходить в божьих невестах-то, когда эвон сколь мужиков кругом!

Она стерпела. Прощка Грех тербил ее за полу, шептал, бормотал:

– Пускают? Али нет? Али мне его палкой, палкой...

– Березина? – неожиданно повторил стрелок и вытянул шею. – Товарищ Голев! А?..

Военный не услышал его. Стрелок, часто поправляя очки, таращился на мать Мелитину и хотел что-то спросить.

– Дозвольте икону вымыть, – попросила мать Мелитина. – Или обтереть бы. Вспомните матерей своих. И Божью уважьте.

Военный глянул вверх и чуть не сронил фуражку с головы.

– Высоко... Загремишь еще оттуда. Ты иди, тебе еще далеко топать, в Барабинск-то. А за икону не волнуйся. Я вот стрелка заставлю, он и вымоет. И то верно, в порядке надо содержать. Иди, Любовь Прокопьевна.

Он никак не хотел замечать Прощку Греха, словно его не существовало уже на этом свете. Мать Мелитина подхватила отца на руки, поклонилась иконе и пошла не оглядываясь. Военные у монастырских ворот смотрели ей в спину, и было в их взглядах нечто высокое и всесильное.

А Прощка Грех сердился и щипал твердыми пальцами дочернее плечо:

– Плохо сказывала, вот и не пустили. Мягкая ты у меня, кисель, а не девка. С ними круто надобно бы...

Она терпела, пока монастырь вместе с холмом и рекой не скрылся за лесом. Потом руки ее ослабли. Опустив Прощку на землю, мать Мелитина села подле него и собралась в комок.

– Что же мне делать, тятенька? – тихо спросила она, и голос наполнился отчаянием. – Что делать мне, коль человек последним на земле родился? Последним! После зверей, после птиц... И даже после травы... Что же спросить с него?! Ведь он же, как дитя, не ведает, что творит...

* * *

Проводив очередных паломников, начкар Голев встал перед воротами и долго смотрел вверх, на икону. Фуражку он предусмотрительно снял; бритая по-модному голова, крупные, породистые черты лица и благородная осанка делали начкара похожим на римского патриция. Часовой как умел держал стойку «смирно» и ждал выговора, однако Голев медлил, хотя по всему было видно, что действиями стрелка он недоволен.

Обгаженная вороньем надвратная икона притягивала взгляд, приковывала воображение. Начкар Голев надел фуражку, оглядел стрелка и похлопал букетом вербы по голенищу сапога.

– Та-ак... Ты сколько служишь, Деревнин?

– Девять месяцев, – отчеканил стрелок, предчувствуя наказание.

– За такой срок баба зачать успеает и родить! – наставительно сказал начкар. – Человека произвести!.. А я из тебя стрелка не могу сделать. Сторожа у ворот. Как ты считаешь – почему?

– Не знаю, товарищ начкар...

– А я знаю. – Голев улыбнулся и заложил руки за спину. – Потому что не наказываю. Все стараюсь через сознание, через соображение воспитать. А вы на четырнадцатом году Советской власти никак того не можете уразуметь. И добротой моей пользуетесь.

– Исправлюсь, Сидор Филиппыч! – заверил Деревнин.

Однако тот махнул рукой:

– Горбатого могила исправит... Кто это вербу туда затащил?

Стрелок глянул на икону и тут же признался:

– Я, товарищ начкар. По недоразумению! Убрать?

– Ладно, пускай торчит. – Голев вздохнул и не спеша скрылся за калиткой.

Деревнин перевел дух и расслабленно обвис, оперевшись на винтовку. Он побаивался начальника караула, как, впрочем, и другие стрелки охраны, но боязнь эта была особой, замешенной на уважении и какой-то таинственной непредсказуемости характера начкара. В Есаульске Голев появился всего год назад, когда организовался лагерь. Видно было, что он старый служака, много повидавший и везде побывавший; через месяц он уже поселился на квартире у Зинаиды Солоповой, молодой и веселой женщины, овдовевшей в гражданскую, а спустя еще месяц уже гулял с ней под ручку по деревянным тротуарам. Однако никто, в том числе и Зинаида, не знал, откуда он явился и надолго ли. Присматриваясь к своему начальнику, Деревнин угадывал за ним тайну, тщательно скрываемую даже от начальника лагеря. Скорее всего Голев когда-то занимал высокие должности, даже выше, чем начлаг, но тут служил в караулке, командовал двумя десятками стрелков и, кажется, был очень доволен. Создавалось ощущение, будто он прибыл в Есаульск на отдых от каких-то своих трудных дел и служба ему тут в радость и развлечение. Отдохнет, погуляет с вдовушкой и скоро уедет на свою главную и тяжкую службу, знать о которой никому не положено. Деревнину самому приходилось кое-что скрывать из своей биографии и своих взглядов, поэтому он чувствовал скрытность других и произвольно защищался от них: если видит он, значит, видят и другие... А Голев наверняка предугадывал, подозревал Деревнина, поэтому частенько прошупывал его оброненными невзначай вопросами о прошлой жизни, и приходилось бдеть ежесекундно, чтобы не взяли врасплох.

Через несколько минут начкар вернулся с лестницей, неторопливо приставил ее к карнизу ворот, проверил, хорошо ли стоит, для надежности подпер камнями.

– Икону мыть? – с готовностью спросил Деревнин.

– Лезь! – приказал Голев. – Ведро принесу.

Стрелок прислонил винтовку к стене, но, спохватившись, закинул оружие за спину, полез вверх. Коснувшись иконы, он воровато перекрестился и стал поджидать начкара. По монастырскому двору, построившись в затылок друг другу, бродили заключенные. Они ходили по кругу возле барачных набитой и побелевшей на солнце тропой, шурились на меркнувший закат, тоскливо озирались по сторонам и казались похожими, как братья. Заглядевшись на этот хоровод, Деревнин не заметил, как под лестницей оказался Голев с ведром и кистью. В ведре белела густая, будто сметана, известь.

– Забеливай! – велел начкар. – Да аккуратней смотри, на ворота не брызгай.

– Кого забеливать? – невпопад спросил стрелок, хотя уже понял, о чем речь.

– Мать Богородицу.

Дрожащей рукой он принял ведро, окунул кисть, но рука не поднялась. Лестница слегка качнулась под ногами.

– Что, стрелок, боязно? – без злорадства поинтересовался Голев и отступил от ворот, чтобы брызги извести не попали на него.

– Боязно, – признался Деревнин и поймал себя на мысли, что ему хочется опрокинуть ведро на голову начкара, а самому бежать потом куда глаза глядят.

– Человек должен преодолевать себя, – сказал начкар. – Бороться со своей слабостью. Понял?

– Понял... – выдавил стрелок. Богородица смотрела ему в глаза и тоже будто спрашивала – понял или нет? А глаза маленького Христа показались печальными и стыдливymi.

– Так трудись над собой, – посоветовал Голев. – И ничего не бойся. Бога нет, поверь мне. Я проверил это на себе. Видишь – жив.

Деревнин глянул вниз. Начкар стоял прямой, ладный и независимый. И если говорил, значит, проверял. Его не разразило громом, не согнуло дурной болезнью, не изъязвила проказа.

Стрелок еще раз обмакнул кисть и, не поднимая взгляда, наугад, мазнул Богородицу по глазам. И ничего не случилось. Только во дворе послышался неясный шум и пронзительный крик женщины. Начкар заспешил в калитку, а Деревнин осторожно выглянул из-за кисти.

Молодая женщина, вцепившись в гимнастерку охранника, неумело била его по щекам, а он пытался и отталкивал ее обеими руками. Остальные лагерницы, сбившись в кучу, стояли подле и безучастно глядели на дерущихся. Охранник наконец изловчился и сбил женщину на землю. Однако та проворно вскочила и с еще большей яростью бросилась на него, расцарапывая ему лицо. В этот момент неподалеку оказался начкар с револьвером в руке, а от караулки бежали стрелки с винтовками наперевес.

– Ложись! – зычно крикнул Голев и выстрелил вверх. – Всем лежать!

Женщины неуклюже повалились на землю, и только та, распаленная гневом, ничего не слышала и не видела. Подоспевший стрелок из караулки схватил ее за волосы и рывком опрокинул навзничь. Женщина вырывалась, крутилась по земле, безумствовала, но стрелок хладнокровно оттащил ее к лагерницам и выпустил косу.

– В карцер! – распорядился начкар, и двое стрелков подхватили женщину под руки, повели в глубь двора. Ноги ее заплетались, моталась по сторонам опущенная голова, и коса доставала земли.

Деревнин перевел дух и взглянул на икону. Известь оплыла, и сквозь молочную пленку глядели на него скорбные глаза Божией Матери. Тогда он мазнул по иконе еще раз, еще, однако густая известка не приставала к фреске, скатывалась и текла под лестницу. Деревнин спустился на перекладину пониже, пристроил ведро и, макая кисть, стал втирать известь, осыпая на землю брызги и вороний помет. Дело пошло. Через минуту на месте иконы белело овальное пятно. Деревнин несколько успокоился и, уже не торопясь, стал перебеливать. На сей раз

известка ложилась ровно и даже красиво. Теперь бы и никому в голову не пришло, что здесь когда-то была фреска с изображением Богородицы.

Закончив работу, Деревнин спустился на землю и очутился перед Голевым. Подбоченившись, тот оглядел стрелка и покачал головой:

– Погляди на себя!.. И ворота уделал! Ну и стрелков набрали! Ни украсть, ни покараулить... Летягин?! – вдруг крикнул он, сунувшись в калитку. – Долго мне ждать?

Со двора вышел стрелок с расцарапанным лицом, понуро встал у ворот. На поясе болталась пустая кобура.

– Простите меня, товарищ Голев, – без всякой надежды попросил Летягин. – Я в следующий раз такого не допущу. Ей-богу!

– Все, отдыхай! – резанул начкар и с громом затворил за собой калитку. – Ну, охраннички социализма, мать вашу...

Летягин тяжело вздохнул и, достав кисет, присел на корточки возле стены. Руки его еще подрагивали, табак просыпался на колени. Он часто промокал рукавом гимнастерки сукровичные царапины и болезненно морщился...

– С караула снял? – спросил Деревнин, кивнув на ворота.

– Ну... Рапорт напишет начлагу. – Летягин затянулся самокруткой и, чувствуя соучастие товарища, добавил обреченно: – Вышибут из стрелков – куда мне?.. В колхоз?

Деревнин стал отряхивать известковые пятна с брюк и гимнастерки, но лишь размазывал их и пачкался еще больше. Придется стирать либо ждать, когда высохнет, и тогда обшоркать. Скорей бы уж смена, и не дай бог начкара понесет проверять посты. Увидит еще раз в таком виде – тоже снимет и отправит домой.

Летягина уже тянуло на откровенность.

– Ну что я с ней сделаю? Что? Если б чужая была – шарахнул бы так, что навек запомнила... А мы с ней через улицу жили... Отпусти, говорит, домой... Как я отпущу? Ну как?! – Он тоскливо огляделся и втянул голову. – Слышь, Деревнин? Что б такое сделать, а? Чтоб не выгнали?

Деревнин молча и сосредоточенно оттирал известку. Сейчас принесет нелегкая Голева, и можно угодить под горячую руку...

– Домой иди, – посоветовал он. – Тут пост все-таки...

– А вот хрен! Не пойду! – вдруг заявил Летягин и плотнее уселся к стене. – До утра просижу. Ничего, он мужик отходчивый. Отойдет – прощенья попрошу. Пустит.

Деревнину было неудобно прогонять товарища, но и терпеть его тут вовсе ни к чему. Явится начкар и закричит – почему посторонние на посту?! Он занервничал, заходил взад-вперед, подбирая слова и решая, как бы это необходимо и определенно сказать Летягину, чтоб ушел и не мозолил глаза. Под руки попала лестница, прислоненная к карнизу. Деревнин схватил ее, поднял, чтобы унести к стене, но в тот же миг выронил и чуть не зацепил Летягина.

Сквозь высохшую известку ясно и как-то празднично светилась икона Богородицы с младенцем на руках...

2. В год 1920...

Первые два дня после освобождения и назначения в ревтрибунал Андрей прожил как-то механически, не осознавая до конца, что с ним происходит. А происходило невероятное, с точки зрения человека обреченного, «отпетого»; казалось, какая-то неподвластная сила, равная всевышней воле, управляет теперь всей его жизнью, и свое собственное желание, своя воля существуют лишь для забавы, как погремушка для ребенка. По сути, он ощущал то же самое, что в тюремной камере, – строгий распорядок быта и бытия, с одной лишь разницей, что вокруг не было стен, решеток, волчка в двери и охраны. Впрочем, охрана была. Вместе с одеждой и амуницией, с мандатом и отдельным двухкомнатным номером в гостинице Андрей получил личную охрану – неказистого с виду, но энергичного человека лет тридцати пяти по фамилии Тауринс. Когда Андрею представили его, в душе ворохнулось легкое сопротивление: зачем ему охрана? Однако по тюремной привычке он тут же отмел все сомнения: жизнь следовало принимать такой, какая она есть. Бессмысленно же возмущаться и протестовать против стен, решеток и запоров, когда сидишь под стражей. Тем более что латышский стрелок Яков Тауринс плохо говорил по-русски и, видимо, стесняясь этого, говорил мало, а, живя рядом, жил незаметно, как полагается телохранителю.

Андрей полежал еще немного под солдатским одеялом с белой простыней и сел, шурясь на солнечное окно.

Он надел френч и, взявшись за ремень, вдруг отложил его. В этот миг он словно вспомнил, что у него нет оружия, нет той тяжести, упакованной в кожу, которая всегда была на ремне. Оказывается, он получил все, кроме оружия! И мысль эта в первую минуту обескуражила его. Конечно, можно и без револьвера, если за тобой по пятам теперь ходит телохранитель, да еще бывший конвоир, ныне ставший чем-то вроде денщика. Но в том, что, предусмотрев все, ему не дали оружия, крылось недоверие. Именно недоверие! Иначе бы хоть какой-нибудь револьверик да сунули. Что за солдат, если в войну ему не положено оружия?

«Погоди, а может, в ревтрибунале не полагается? – попробовал успокоить себя Андрей. – К чему? Зачем судье оружие?»

И все-таки в душе возникла щербинка, язвочка, ноющая не больно, однако настойчиво, чтобы вовсе не помнить о ней. Андрей затянул ремень, посмотрелся в зеркало и стал умываться под жестяным рукомойником в углу.

– Доброе утро! – в приоткрытой двери стоял Тарас Бутенин и улыбался. – Как ночевали?

– Спасибо, – буркнул Андрей.

Бутенин отчего-то перешел на вы, причем умышленно, поскольку никогда не ошибался, даже если они оставались вдвоем. Это походило на подхалимаж, но Андрей терпел.

– Из Сибири вестей нет? – спросил он, утираясь солдатским полотенцем.

– Молчат! – засмеялся Бутенин. – Новость пережевывают!

Два дня назад Бутенин телеграфировал в штаб о назначении Андрея, и теперь они оба ждали ответа. При одном воспоминании о красноярской тюрьме или о комиссаре Лобытове Андрей загорался мстительным чувством. И чем дольше не было вестей из штаба, чем дольше там соображали, что же произошло с Березиным в Москве, тем чувство это становилось ярче и порой, особенно перед сном, захватывало воображение. Он даже пытался представить себе, как вернется в Красноярск, где его уже «отпели», и видел почему-то себя строгим и хмурым человеком. Да и слова-то приходили какие-то незнакомые, дерзко-мстительные. «Ну что? – спросит он Лобытова. – Хотел меня в землю? С дерьмом смешать? Ноги об меня вытереть?.. Видишь, а я жив и назначен председателем ревтрибунала. Судить буду». И ничего не скажет в ответ Лобытов, только позеленеет от злости. С этими мыслями и словами он засыпал, однако утром

отчего-то вспоминалась одиночка в Бутырской тюрьме, и вместо удовлетворения Андрей чувствовал раздражение и не находил себе места.

– До чего же стыдно, стыдно, – бормотал он, если был один. – Мне же так нельзя жить. С какими глазами возвращаться?.. Обласкали, назначили, но зачем мне... зачем мне вся эта суета?! Какой же из меня судья? И кого судить? За что?..

Оборвав себя на полуслове, он заглядывал в смежную комнату – не слышал ли кто? не громко ли он говорил? – и, чуть усмирив отчаяние, продолжал бормотать – тише, с опаской:

– Ничего не хочу... Я ничего не хочу! Все против воли моей, все противно. Чувствую же, как мне противно! Мерзость кругом, не хочу больше. Наелся я человечины... Господи, зачем мне все это?!

Когда на глаза наворачивались слезы, он отряхивался от навязчивых покаянных слов и бежал к раковине. Вода смывала все, освежала лицо, и если долго бездумно плескаться, то и душу. «Ничего, ничего, – убеждал он себя, словно возвращался с похорон близкого человека. – Надо жить. Живым надо жить...»

Андрей повесил полотенце и еще раз глянул в зеркало. Обезображивающий лицо шрам надежно прятал чувства. Никому и в голову не придет, что он мгновение назад плакал...

Тарас Бутенин все еще торчал в дверях и улыбался.

– Пускай, пускай подумают, – добавил он, имея в виду штаб в Красноярске. – Торопить не станем... Зато вам пакет принесли. Да я не стал будить, в шесть утра еще...

Андрей молча забрал пакет, открыл его и достал узкую полоску бумаги. «Дорогой тов. Березин! – прочитал он. – Жду Вас в 12 ч. 30 м. на ул. Басманной, дом 21, третий эт. Встречу сам. Шиловский».

Он прочитал еще раз и засунул пакет в накладной карман. С Шиловским они не встречались с того самого момента, как тот после аудиенции у Троцкого выписал пропуск и отпустил из Реввоенсовета. И теперь Андрей подумал, что было бы нехорошо уехать из Москвы, даже не попрощавшись с ним. Все-таки с того света достал, сам воскрес, его воскресил... Можно и простить ему безвинно повешенного парня по фамилии Крайнов. Кто теперь рассудит, кто найдет правых и виноватых? Кто из них кто? Шиловский, не признавшийся, что он комиссар Шиловский, или Крайнов, позарившийся на чужие часы?.. Забывать не следует, но простить можно. Блажен, кто прощает...

– Завтракать-то сюда принести? – спросил Бутенин. – Я сало купил, картошки нажарил...

«Холуйская же натура у тебя, – подумал Андрей. – Какой же из тебя генерал будет?.. Впрочем, будет...»

Еще вчера ему было безразлично отношение Бутенина, но сегодня стало мерзко. К тому же Тарас вошел в комнату, плотно прикрыл дверь и, держась на расстоянии от уха, зашептал:

– Я понял, Андрей Николаич! Вам не телохранителя дали, а шпиона. Тауринс все записывает, сам видал! Осведомителя приставили! Отказывайтесь от него!

Андрей выслушал и, засунув руки в карманы брюк, отошел к окну. Тарас тенью последовал за ним. Он невзлюбил Тауринса с момента его появления, какое-то время был растерян и подавлен. Выходило, что Бутенин будто бы отработал свое и теперь не нужен, а на его место уже взяли другого человека. В первый же вечер они поругались, точнее – Тарас взъелся на телохранителя по какому-то пустяку, и так, слово за слово, разгорелась ссора. Бутенин, расплясь, отчаянно матерился и даже пытался вытолкнуть Тауринса из номера; тот же отвечал ему хоть и резко, но сдержанно. Они, как сводные дети, не могли жить в мире, потому что один все равно был роднее отцу.

У окна Андрей резко повернулся к Бутенину и увидел, что щеки и подбородок чисто выбриты и щетина оставлена лишь на верхней губе. Бутенин перехватил его взгляд и провел рукой под носом.

– Усы отпустил, – признался он. – Позавчера.

– Мне это не нравится, Бутенин, – жестко сказал Андрей.

– Что? Усы?

– Холуйство твое! – чуть не крикнул Андрей и сбавил тон: – Ненавижу, понял?

Бутенин вытянулся, изобразив нечто вроде стойки «смирно», опустил голову. Обвисли широкие плечи.

Андрей тем временем увидел за окном барышню в летнем ситчике и шляпке с живыми цветами. Она вращала над головой белый зонт и смотрела на окна гостиницы – куда-то выше второго этажа, на котором был номер Андрея. Он чуть-чуть отворил окно, и лицо обдало теплым ветром, от него вдруг стало печально и радостно одновременно.

– Не могу понять, Николаич, – глухо проговорил Бутенин. – Что мы за люди? Ведь коснись меня, я б, когда дело до большого, сапогов бы не лизал. Я б лучше рубаху до пупа и – попер! Мать-перемать, все равно подышать!.. А когда вот так, когда не шибко важно – прет из меня. Чую, понимаю, а вот... У больших революционеров власть над собой – это да!.. Товарища Ленина взять, товарища Троцкого. Потому и вожди!

Андрей отворил створку рамы пошире, и теперь можно было видеть барышню не через пыльное стекло, а сквозь открытое пространство, сквозь теплый ветер, и от этого она стала ближе. Если сейчас окликнуть или просто погромче стукнуть рамой, она бы обязательно заметила его. Но барышня по-прежнему смотрела выше и ни разу не опустила глаза. Кого-то ждала?.. Вот она сделала несколько шажков, и Андрей вдруг увидел туфельки на ее ногах, такие крохотные и изящные, что обдало жаром голову и вспотели ладони.

– Если бы узнать, а? – перешел на шепот Бутенин. – Слышь, Николаич? Узнать бы, как бы Ленин с Троцким? Как бы они? Слышь? Рубаху бы пазганули... или бы как ты, а? – Ему, наверное, стало страшно от такой мысли, и он торопливо сам ответил на свой вопрос: – Конечно, рубаху! Они такие!.. Слышь, а они правда дворяне? Верней – из дворян?

– Ленин из дворян, – машинально бросил Андрей. – О Троцком ничего не знаю.

«Посмотрите сюда, сюда! – мысленно звал он. – Я ниже! Я всего немного ниже! Ну? Ну что вам стоит? Посмотрите!»

Барышня неожиданно резко опустила глаза, будто на выстрел, и лицо ее просияло. Она сделала несколько стремительных шагов вперед, и Андрей увидел военного, бегущего ей навстречу. Зонтик почему-то оказался на мостовой; его подхватило ветром, закружило на месте и понесло, понесло, будто головку одуванчика...

Андрей отвернулся от окна и, не глядя, с треском закрыл раму. Бутенин стоял в задумчивости, по лицу его судорогой скользил страх. Андрею захотелось досадить ему, загнать в угол. Спросить всего лишь о том, а что бы он, Бутенин, сделал, если бы кто-то из вождей унизил его, обидел, поиздевался? Что бы он сделал? Повиновался бы партийной дисциплине? Пазганул рубаху?

– Ну да, и дворяне разные бывают, – заключил какую-то свою мысль Бутенин и стряхнул оцепенение. – Если по классово-й сущности – одинаковые, а по-человечески – разные... Николаич! А мы Ленина-то увидим, нет? Быть в Москве и не посмотреть – век себе не прошу! Пойдем куда-нибудь к Красной площади? Постоим, а? Вдруг выйдет или на машине выедет? Хоть издали глянуть... Пока ты сидел, я ходил, ждал – не повезло. А говорят, можно увидеть. В сам Кремль не пускают, а на улице стоять можно. На вождя посмотреть, а?.. Ты хоть Троцкого видал...

Андрей вздохнул и еще раз глянул в окно: пусто, никого – лишь голая мостовая с ямами выбранного камня, чем-то похожими на осенние полыньи...

В двенадцатом часу Андрей с Тауринсом взяли извозчика и отправились на Басманную. Андрей спешил и выехал раньше, поскольку во второй половине дня ему следовало быть в ревтрибунале, куда он являлся ежедневно и где в спешном порядке изучал судопроизводство.

А попросту говоря, сидел на приставных стульях сбоку чужих, всегда разных и вечно занятых столов и читал по-революционному короткие и чрезвычайно емкие законченные дела. Читал и в первые два дня ровным счетом ничего не понимал, за исключением первой и последней строк приговоров. Дела были похожи друг на друга, менялись лишь даты, фамилии и города, а в остальном разум выхватывал одинаковые слова – «заговор», «контрреволюция», «именем», «расстрелять». И было ужасно, что, читая все это, он боролся со сном. Причем начинал испытывать сонливость сразу же, как только открывал папку с делом, и, чтобы не заснуть, до крови расковыривал коросту на запястье, обожженном в тюрьме над свечой. Боль и вид свежей крови проясняли сознание, к тому же находилось новое занятие – незаметно зажав рану платком, останавливать кровь...

В двенадцать они уже прибыли к указанному в письме Шиловского дому, отпустили извозчика и остановились у подъезда. Видно было, что двери заперты и не открывались очень давно.

Они прошли сквозь разобранный на дрова забор и через черный ход поднялись на третий этаж. Ровно в половине первого Андрей постучал. Дверь отозвалась гулко, словно за нею была пустота. Телохраниль встал между этажами и положил руку на колодку маузера. Андрей постучал еще раз и услышал женский голос сверху:

– Не стучите, днем там никого не бывает.

– Шутка весьма остроумная, – язвительно заметил Андрей. – Приходите в гости, когда нас дома нет.

Обескураженный, он присел на ступени парадного. Все равно нужно подождать – вдруг Шиловский опаздывает. Тауринс пристроился рядом и закурил трубочку. Он ни о чем не спрашивал, будто его совершенно не интересовало, зачем приехали сюда и чего ждут.

– Послушайте, Яков, – осторожно начал Андрей, вспомнив обвинение Бутенина. – Что вы все время записываете?

– Хроника, дневник, – с готовностью пояснил Тауринс. – Я желал занятий литература. Революция дает мне Латвия свободна, я уеду, и литература будет мой хлеб.

– О чем же вы собираетесь написать?

– Роман-революция.

– Роман о революции?

– Нет-нет! Роман-революция. – Тауринс поднял палец. – Латышский стрелок спасает Россия, потом Россия и латышский стрелок делает мировая революция. Клеба мало, работы много.

Неожиданно в просвете деревьев Андрей увидел женскую фигуру в черной рясе. И сердце, словно маятник давно остановившихся часов, дрогнуло, качнулось, ударило первый раз, второй, третий...

– Маменька? – пробормотал он и против воли своей пошел через улицу, затем побежал, увлекая за собой Тауринса.

Монахиня остановилась и обернулась на грохот сапог по мостовой. Сердце у Андрея замерло, прервалось дыхание, и ноги вросли в землю. «Что же это я, господи? – очнулся он. – Ведь это совсем чужая старуха. Совсем чужая...» Монахиня задержала на нем взгляд больших старческих и слепнувших глаз и тихо пошла своей дорогой.

Андрей снял кепку, повертел ее в руках. Фигура монахини медленно пропала за щербатым забором. Тауринс был рядом и равнодушно попыхивал трубкой. «Маменька, маменька, – мысленно произнес Андрей, вслушиваясь в это слово. – Мне так плохо...»

Но в тот же миг он преодолел слабость и швырнул кепку в пыль.

– Тауринс! Вы можете достать мне офицерскую фуражку? В этой я не могу! Это же блин! Лопух!

Тауринс неторопливо поднял кожаную кепку, отряхнул ее, поправил звездочку над козырьком.

– Кром хороший, Германия, да... Менять можно. Кепка нужен, мода. Фуражка – плохой мода, белая мода.

Андрей подождал еще, но парадное так и не открыли, и никто не встречал в доме гостей. Теряясь в догадках и чувствуя раздражение, он пошел пешком в ревтрибунал и по дороге незаметно успокоился. И потом, когда сидел возле стола над делом, его уже не клонило в сон, однако прочитанное не воспринималось как действительность. Только что он шел по мирному городу, в толпе мирных людей, хотя среди прохожих часто попадались и военные, и не укладывалось в сознании, что над головами этих людей, как анафема, могут произноситься зловеще громышающие слова – заговор, контрреволюция, белогвардейщина. Или вдруг колокольным набатом звучало в ушах – дон, дон, дон... Не могло быть, не имело права быть ничего!

Но он открывал новое дело, и в глазах застывал кривой зигзаг молнии – расстрелять!

Вечером, возвратившись в гостиницу, Андрей послал Бутенина к коменданту с просьбой обменять кепку на фуражку. Однако Бутенин постучал в первый же попавшийся номер и скоро вернулся с поношенной, но хорошей фуражкой. Правда, она оказалась чуть маловатой, зато сидела на голове фасонисто и придавала уверенности.

– Яков, на сегодняшний вечер ты свободен, – распорядился Андрей. – Пасти меня не нужно.

– Товарищ Березинь, не имею права, – заявил телохранитель. – Ваша жизнь – моя голова.

– Ну, милейший! – возмутился Андрей. – А если я иду на свидание к даме?

– И я иду на свидание к даме, – повторил Тауринс. – Сторожу около тверь.

– Ну и жизнь пошла! – засмеялся Бутенин. – Во умора – к девкам не сбегать! Так ты чего, латыш, свечу держать будешь?

– Тэфки бегать можно, – разрешил телохранитель. – Я толжен проверить, нет ли засад.

Андрей замолчал и со злорадством подумал: «Ну, парень, сегодня ты у меня побегаешь, поищешь!» Какой-то жгучий азарт сделать не так, как теперь полагается ему вести себя, пойти против всяких правил и даже против логики, азарт и жажда самостоятельности с юношеским безрассудством охватили воображение. Он уже прикидывал, под каким предлогом выйти из номера, однако в этот момент явился курьер с пакетом. На пакете Андрей вновь увидел почерк Шиловского, разорвал конверт.

«Ув. Анд. Ник.! Прошу явиться к восьми часам вечера по адресу: Ордынка, дом куп. Замятина (бывший). Жду. *Шиловский*».

– Поехали! – скомандовал Андрей.

Тауринс спокойно надел тужурку, проверил маузер в колодке и револьвер во внутреннем кармане.

Бутенин приуныл:

– А я хотел позвать на Красную площадь, покараулить...

– Лучше иди к девкам, – посоветовал Андрей.

– Нет, один пойду, – решил Тарас. – Девки и в Сибири много, а Ленина посмотреть – это да...

В назначенный час Андрей с телохранителем подъехали к белому двухэтажному особняку на Ордынке. Дом стоял в глубине сада, за чугунной решеткой, но калитка была открыта. Андрей ступил на посыпанную песком дорожку, испещренную лапотными, клетчатými следами, и не спеша подошел к черной двери. Вид у особняка был праздничный, однако на окнах виднелись черные шторы, придавая облику дома траурность и покой. Тауринс зашел за угол, деловито осмотрелся по сторонам и вдруг замер. Андрей проследил за его взглядом и увидел мешковатого красноармейца, который слонялся вдоль изгороди и посматривал на дом.

– Пойдите и разберитесь, – сдерживая смех, приказал Андрей. – Потом доложите...

И потянул шнур колокольчика.

Дверь открыла женщина в переднике, похоже, горничная. Андрей назвал себя и попросил Шиловского.

– Проходите, проходите, – добродушно предложила горничная и протянула руку за фуражкой. – Юля! К вам гость!

В то же время по внутренней лестнице застучали каблучки. Андрей поднял голову: барышня лет восемнадцати сбегала вниз, и боязливая белая рука ее скользила по черным перилам.

– Андрей Николаевич? – спросила она. – Дядя велел подождать. Он будет через час. Агафья Ивановна, проводите в гостиную. Я сейчас.

Барышня взбежала по лестнице, и шаги ее стихли за скрипнувшей дверью. Перед глазами осталось бело-голубое пятно ее платья. Андрей отчего-то смутился.

– Прошу! – сказала горничная, ожидая, когда ей подадут фуражку. – Пожалуйста, в гостиную.

– Спасибо, – проронил Андрей и шагнул к двери. – Я на улице подожду. Погуляю... Целый час.

Тауринс дежурил на крыльце, меланхолично посасывая пустую трубку.

– Охрана, – доложил он и указал чубуком на красноармейца за решеткой ограды.

Андрей прошел мимо телохранителя, затем мимо неуклюжего Соколова и свернул за угол. Тауринс догнал его и двинулся следом, держась на расстоянии трех шагов. «Вот сейчас я от тебя и убегу! – с мальчишеским азартом подумал Андрей. – Держись, телохранитель. Сегодня побегаешь за мной, попотеешь...» Он миновал закрытую мясную лавку, выискивая глазами, куда бы нырнуть, и заметил арку проходного двора. Приблизившись к ней, он бросился под ее гулкий свод и, очутившись в каком-то дворе, побежал вдоль стены. Все-таки Тауринс не ожидал такого поворота и сразу же потерял Андрея из виду. Сапоги его простучали под аркой, когда Андрей уже был за углом обшарпанного нежилого особняка. Он видел, как телохранитель пометался по двору и молча ринулся в противоположную от Андрея сторону. «А, шпионская твоя душа! – восторжествовал Андрей. – Ну, ищи, лови меня!»

Он выскочил в переулок, затем обратно на Ордынку. Возле дома Шиловского он замедлил шаг, прошел мимо скучающего красноармейца-охранника и, едва тот скрылся за решеткой, вновь прибавил ходу. Редкие прохожие озирались на него, однако никто не выражал особого интереса. Андрею стало смешно. Он шел, улыбался и сдерживал себя, чтобы не рассмеяться в голос. Интересно, как Тауринс напишет в своем романе об этом случае? Правду скажет? Или солжет? Или вообще опустит эпизод, как проворонил подопечного? «Держись, писатель! – восклицал про себя Андрей. – Держись, подлый филер! Клеба мало, работы много...»

Освободившись от телохранителя, он впервые за последние месяцы почувствовал себя вольным. Никто не держал его под замком, не тащился за спиной и не дышал в затылок. Ему захотелось сделать какую-нибудь глупость: запеть, например, или сплясать на мостовой. Благо, что в тихих переулках и народу-то не было. Разве что пыльные, темные окна смотрят как-то настороженно, с опаской.

Минут двадцать он плутал по улицам, делал петли, и лишь когда слышал стук копыт и дребезг колес по мостовой, прятался в подворотнях и пережидал извозчиков. Теплый ветер, запах свежей, еще не пропыленной листвы и вечерний свет будоражили, наполняли душу радостью и ожиданием чего-то чудесного, непредсказуемого. Ему чудилось, будто сейчас, вот сейчас на этих незнакомых улочках появится та барышня с зонтиком, что была утром у гостиницы. Увидит его и побежит навстречу, роняя все из рук, как бежала к тому счастливицу. А он тогда снимет фуражку, и опустится на колени у ее ног, и поцелует край ее одежды.

А потом они пойдут гулять по пустынной Москве. И все будет свежо, ново, непорочно, как земля после потопа. Пусть будет так, пусть будет...

Вдруг Андрей заметил бело-голубое платье впереди и, повинувшись какому-то изумленно-радостному чувству, прибавил шагу, чуть не срываясь в бег. «Постойте! – про себя смеялся и звал он. – Это я, Андрей Николаевич! Ну постойте же!» Девушка в бело-голубом повернула направо и словно махнула ему – сюда, сюда! Мимо протарахтела пролетка, но Андрей уже ничего не замечал вокруг. В это мгновение не существовало ни правил, ни телохранителей.

Он добежал до угла, за которым пропало бело-голубое пятно, и... очутился перед церковью с множеством нищих у паперти. Путь был один – вперед, и он пошел, будто сквозь строй. К нему тянули скрюченные руки, просили, задевая одежду; и эти ладони, и кепки, шляпы, крестьянские шапки поднимались ему навстречу, словно волна, и в одинаково скорбных глазах светилась надежда. А за его спиной, потеряв силу, все гасло и опадало с тихим шелестом, будто палая листва под ногами.

В церкви шла праздничная служба, и Андрей вспомнил, что сегодня – родительский день! Он подошел к конторке, чтобы купить свечи, но сразу не мог сосчитать, сколько же нужно, сколько поставить за упокой и сколько за здоровье. Отец, брат, сестра, три дяди... И все-таки не сосчитал, купил наугад десяток и пробрался к столику, где писали поминальные записки. Карандаш оказался занятым, и Андрей, ожидая, вновь стал пересчитывать свою покойную родню. Оля... А вдруг жива она? Жив ли дед Прошка Грех? Дядя Всеволод, давно исчезнувший за границей? Дядя Алексей, лихой моряк?.. И жива ли мать?!

Взгляд его случайно упал на руки пишущего записку человека, почти прозрачные от старости, но крепкие, желтовато-смолевые, и лишь потом он обратил внимание на длинный список, возникающий под карандашом: было уже имен двадцать, а человек все писал и писал, словно хотел помянуть всех до седьмого колена. Андрей поднял глаза и увидел глубокого старика в генеральском мундире без погон.

– Не смотрите на меня так, – ворчливо попросил генерал, не отрываясь от записи. – И в храме мешают...

Опомнившись, Андрей достал часы. До приезда Шиловского оставалось семь минут! Через семь минут тот будет дома, а его, Андрея, нет. А Тауринс, побегав вокруг, скорее всего дежурит возле особняка и, чего доброго, доложит Шиловскому, что подопечный бежал. Впрочем, телохранителю неизвестно, когда прибудет Шиловский, но кто их знает, какие между ними дела? Если Тауринс приставлен шпионить, то уже наверняка доложил хозяину о побеге. И теперь его, Андрея, ищут повсюду.

Он кинулся к извозчичьим пролеткам, ожидающим у церкви, на ходу проверяя карманы, и остановился. Деньги были потрачены на свечи и розданы нищим... Тогда он догнал людей, выходящих из церковных ворот, и спросил, как пройти на Ордынку. И видимо, лицо у него было страшное, поскольку люди боязливо шарахнулись в сторону, а затем испуганно стали указывать куда-то пальцами и что-то говорить, перебивая друг друга. Андрей не дослушал и побежал, куда показали. По пути он еще несколько раз спрашивал дорогу и опять пугал встречных. Мокрый френч прилипал к лопаткам, пот заливал глаза, но, подстегиваемый страхом заблудиться и не успеть ко времени, он продолжал метаться по переулкам, пока неожиданно не очутился на Ордынке, возле знакомого особняка. Оказалось, не так уж и далеко, и прошло всего пять минут. Здесь он перевел дух и вдруг почувствовал всю мерзость и гадость своего состояния. Хотелось сбросить френч и немедленно вымыться, избавиться от тошнотворного, обволакивающего тело запаха пота.

«Что же это я? – тупо и отрешенно подумал он. – Зачем бежал так? Чего испугался?.. В «эшелоне смерти» не боялся, в камере смертников сидел... Господи, что со мной? Что со мной делается?!»

Красноармеец-охранник стоял у ворот и равнодушно смотрел куда-то мимо. Он молча пропустил Андрея и затворил за ним калитку. Андрей свернул с дорожки под развесистые липовые кроны и сел на садовую скамейку. Тело вздрагивало от омерзения; кривило челюсть.

Окна дома Шиловского напоминали похоронное бюро. Андрей сел к нему спиной и скорчился, брезгливо выставив руки, но в это время стукнула входная дверь. Он обернулся: горничная с корзинкой вышла из дома и не спеша направилась к калитке. Она прошла мимо, не заметив Андрея, задержалась возле красноармейца и сунула ему в руки какой-то сверток. Охранник благодарно закивал, спрятал сверток под гимнастерку и, когда горничная удалилась, стал доставать что-то и есть, пережевывая торопливо и воровато.

«Встану сейчас и уйду, – думал Андрей и не трогался с места. – Мне ничего не нужно. Я никого не боюсь. Ведь я даже смерти не боюсь!.. А Шиловский меня унижает. Он же издевается надо мной! Поощадил, спас от расстрела и теперь унижает... Что же я терплю? Что же я сижу здесь?!»

Он вскочил, огляделся. Пока нет Тауринса, пока нет самого Шиловского – бежать! Охраннику у ворот все равно, он не задержит... Андрей крадучись ступил на дорожку, глянул на черные двери и распрямылся. «Нет, я просто так не побегу! – мстительно подумал он. – Не побегу униженным! Я ему все скажу в лицо, в глаза! Чтобы знал. И чтобы мне не сносить его унижение, чтобы от меня не воняло этим потом!»

Андрей взялся за прутья литой решетки, потряс ее, вызывая глухой дребезг и звон. Красноармеец перестал жевать, вытаращив глаза, однако тут же отвернулся и покосолапил к углу.

– Андрей Николаевич? – услышал вдруг Андрей уже знакомый голос за спиной. – Вы здесь?.. Дядя только что звонил и просил передать, что задержится еще минут на сорок.

Племянница Шиловского была на дорожке, в трех саженях от Андрея, и ее бело-голубое платье ярко выделялось на фоне черных стволов старых лип.

– Спасибо, – бросил Андрей, продолжая стоять лицом к решетке. – Я подожду.

– Заходите в дом, – пригласила она. – Я вас напою чаем. Дядя велел позаботиться о вас.

Племянница была уже рядом, и Андрей сделал несколько шагов в сторону, чтобы она не почувствовала его дурного запаха.

– Ничего, я подожду здесь, – сказал он. – Благодарю вас.

И проводил ее глазами до черной двери.

– Хотите, я покажу вам живой уголок? – вдруг спросила племянница. – Это очень интересно.

– Живой уголок? – переспросил Андрей, стараясь понять смысл. – Что это такое? Зачем?

Она засмеялась по-детски весело и беззаботно:

– Идите сюда, скорее! Все сами увидите!

Упорствовать уже было глупо и неловко. Андрей перешагнул порог, но дальше передней не пошел: смердящий пот в помещении стал ощутимее и гаже, тем более что по дому разливались запахи жареного кофе и тонких духов.

– Простите, мне нужно вымыть руки, – глядя в сторону, сказал Андрей.

Юлия проводила его в ванную комнату, и он, оставшись в уединении и дорвавшись до воды, стащил с себя френч, рубаху и сунулся под кран. Однако этого показалось мало. Закрывшись на шпингалет, он разделся, встал на колени в ванне и торопливо, с воровской сноровкой и оглядкой на дверь начал мыться. Кусок желтого, жирного мыла то и дело выскальзывал, убегал щуренком в грязную воду, напора в кране не хватало, а ему хотелось больше, больше чистой воды! Он скреб ногтями зябнущую кожу и вспоминал купание у водонапорной башни, когда они с Тарасом Бутениным вернулись из степи, покрытой человеческими костями. Кое-как обмывшись, Андрей вырвал пробку в ванне, и вода с грохотом пошла в канализацию. Он замер, зажимая дыру ладонью и озираясь на дверь. Но все, кажется, было спокойно, никто не слышал. Уничтожив следы помывки, Андрей хотел вытереться рубахой, однако от нее разлило потом. Тогда он намочил, намылил рубаху и с прежней поспешностью постирал ее под струей воды. Хорошо, что волосы еще не отросли, – голову можно было не осушать полотенцем. Андрей утерся крепко отжатой рубахой, выкрутил ее еще раз и надел на холодное, влажное

тело. Мытье и легкий колкватый озноб успокоили чувства. Он с удовольствием и уверенностью обрядился в галифе и френч, натянул сапоги и огляделся. И только сейчас заметил, что в углу стоит горячая еще водогрейка и там, судя по стеклянному окошечку, полно воды. И сама ванная комната, облицованная голубым кафелем, сияет чистотой и уютом. Здесь бы надо мыться не спеша, полежать в горячей воде, насладиться теплом, духом пахучего мыла, чтобы потом завернуться в огромную простыню и, блаженствуя, посидеть на мраморной скамеечке. Он же, словно голодный к хлебу, бросился под струю холодной воды и не вымылся, а, можно сказать, украл немного свежести и чистоты. И как же было дико и смешно смотреть на него со стороны! Хорошо, что кража эта останется тайной...

Стараясь не стукнуть шпингалетом, Андрей отворил дверь и выглянул в коридор – пусто. На цыпочках – повлажневшие сапоги не скрипели и не стучали на коврах – он прошел в гостиную и сел в кресло, как ни в чем не бывало. Однако в голове билась насмешливая и смущавшая мысль – вор, вор... По стенам висели темные картины, и лак их матово поблескивал в синеватых сумерках, льющихся из высоких окон. Покойная тишина дома умиротворяла и отгоняла всякую острую и болезненную мысль, но то, зачем он пришел в этот дом, жило как бы само по себе. Мытье у Шиловского тоже было унижением, да как же иначе перед решительным разговором можно было снять, смыть с себя позорные следы страха? Как обрести уверенность?

«Ничего, ты мне за все ответишь, – думал он как-то исподволь, разглядывая неясные очертания лиц на картинах. – Я дворянин и русский офицер. И еще помню об этом... Помню, помню!»

Он хотел произнести вслух последнее слово, но ход этих подспудных дум как бы не имел реального воплощения в тот миг. Он действительно никогда не забывал о своем происхождении, и достоинство, как, впрочем, и чувство офицерской чести, всегда жило в нем, однако за последние два года столько всего наслось, налипло волей или неволей, что память о собственном благородстве будто загушувалась, поблекла, как эти старые картины на стенах. Было трудно да и, пожалуй, невозможно теперь самому разобраться и увидеть, насколько чистыми оставались прежние чувства. Единственным мерилom, казалось ему, может быть совесть, поскольку ничто так не мучает, кроме нее. Ведь она и в камере смертников помогла опомниться, ежечасно возвращая его к греху, сотворенному на берегу Обь-Енисейского канала, и сейчас не дает покоя. Она, как телохранитель, постоянно дышит в затылок, даже когда подавлена воля. Даже когда он, боясь опоздать, бежит в страхе и обливается вонючим потом.

«Я дворянин и русский офицер, – сосредоточившись, мысленно повторил он. – Я не боюсь смерти и потому не буду судить. И он не заставит меня делать это!»

Андрей ощутил, как прохладное тело наливается тугими мышцами и вместе с физической силой крепнет душа. Он вспомнил, как в детстве владыка Даниил учил вере. Он заставлял соблюдать обряд на молитве, утверждая, что исполнение его по канону – это тоже путь, следуя по которому можно стать истинно верующим человеком. Сам по себе обряд как бы уже был заряжен Божьей благодатью и верой и потому выводил душу человеческую из тьмы и неверия. «И теперь, – размышлял Андрей, – если постоянно помнить и повторять, кто ты, вернется и благородство, и офицерская честь. Я брошу ему в лицо мандат. И пусть он вызывает конвой...»

– А я вас потеряла, Андрей Николаевич! – со смехом сказала племянница Шиловского Юлия, вбегая в гостиную. – Мне казалось, вы до сих пор в ванной!

Большие глаза ее были по-девичьи немного шальные и бесхитростные; тяжелые каштановые волосы тянули маленькую головку к плечу или назад, если она заглядывала вверх. Она успела переодеться в бордовое вечернее платье, отчего сразу повзрослела, спрятав юношескую угловатость. Андрей заметил, что взгляд Юлии то и дело останавливается на его шраме и глаза ее при этом будто вздрагивают. Он всегда чувствовал на нем чужие взгляды, где бы ни был. И только Шиловский не замечал обезображенного лица и всегда смотрел куда-то в переносье.

– Где же ваш дядя? – спросил Андрей, ощущая волнение и тепло от заботливости в голосе Юлии. – У меня к нему очень важное дело.

– У него – тоже! – сказала Юлия. – И он очень просил подождать. Кстати, сорок минут не прошли, дядя, наверное, еще на службе...

– Ему можно позвонить?

– Конечно! – обрадовалась она. – Идемте! Телефон в кабинете.

Она взяла его руку, как дети берут взрослых, и повела за собой в переднюю, затем наверх по лестнице. Андрей послушно следовал за ней, чувствуя на запястье ее теплую руку и бездумно восхищаясь этим теплом. В кабинете она сама взяла телефонную трубку и попросила соединить с Реввоенсоветом. Ожидая ответа, крадучись рассматривала шрам, и Андрей уловил сострадание в ее глазах. Телефон Шиловского не отвечал, Юлия решила, что дядя куда-то отлучился, и хотела перезвонить через несколько минут. Пережидая время, Андрей стал осматриваться. Огромный кабинет был отделан черным деревом и заставлен книжными шкафами, на которых в изобилии стояли чучела птиц: от орла с распушенными крыльями до стайки колибри, изумрудами развешанных на тонкой серебряной проволоке. Кабинет революционера Шиловского скорее напоминал кабинет ученого.

– Дядя учился когда-то в Сорбонне и занимался биологией, – заметив любопытство Андрея, объяснила Юлия. – И до сих пор мечтает вернуться к науке. После своей мировой революции.

Обилие книг напомнило Андрею кабинет владыки Даниила. Полузабытое желание прикасаться к корешкам, доставать тома и листать, случайно выхватывая зрением неожиданные слова и фразы, и тут же искать и находить великий и тайный смысл, судьбоносность этих слов и фраз, тяга к заповедной книжности вдруг обострились, и Андрей непроизвольно потянул дверцу шкафа. Она оказалась запертой на ключ. Сквозь стекло корешки книг казались еще более заманчивыми и притягательными.

– А я изучал историю в университете, – неожиданно для себя признался Андрей. – Только успел забыть об этом... Хотя должен был пойти учителем в гимназию.

– Я все знаю про вас! – засмеялась Юлия. – Дядюшка много рассказывал...

Андрей обернулся на ее смех, скрывая удивление, спросил с расстановкой:

– И что же... он рассказывал?

– Проще спросить, что не рассказывал! – весело ответила она и сняла трубку.

Телефон по-прежнему не отвечал, и удовлетворенная Юлия заключила, что дядя выехал домой и скоро будет. Они спустились вниз, Юлия отправилась на кухню – подогреть ужин – и хотела оставить Андрея в гостиной, однако он пошел следом.

– Хотите, я вам расскажу то, что вы от дяди не слышали? – предложил он, внутренне распаясь. – И никогда не услышите?

Лицо ее дрогнуло, и опечалились глаза, а волосы, кажется, еще потяжелели.

– Хочу, – проронила она обреченно.

– По моему приказу расстреливали пленных, – сказал Андрей. – По моему... На моих глазах, сорок шесть душ...

– Я знаю, – перебила она, не поднимая головы. – И вас за это арестовали.

– Да, арестовали, – чувствуя, как деревенеют губы, сказал Андрей. – Но за это же произвели в судьи. А я не могу принять такой... благодарности.

– Это революция, – убежденно произнесла она. – А революция отменяет старую мораль. Конечно, жестоко, но иначе победить нельзя.

– Мораль отменить невозможно! – излишне горячо проговорил Андрей. – Это же не указ... не долговая расписка! Как вы можете так говорить?

Он тут же остановил себя, попытался взять в руки: глупо, ведь не Шиловский перед ним, всего лишь его племянница, девица на выданье, которой хочется светской беседы. Надо обождать, сейчас приедет хозяин этого дома, вот тогда можно и поговорить...

– Вы не верите в революцию? – тихо изумилась она, видимо, привыкнув к людям убежденным, как ее дядя.

Андрей усмехнулся и ничего не ответил. Юлия обиделась:

– Считаете меня за глупую девицу, которая существует здесь, чтобы развлекать дядиных гостей?

– Простите, я так не считаю, – буркнул Андрей.

Юлия посмотрела на него по-женски горестно, жалостливо, как на несчастного, убогого человека, однако сказала не о том, что думала:

– Меня учили не вникать в дела мужчин. Но я много слышала о революции... Как же так: не верите и служите ей?

– В Красной Армии семьдесят тысяч офицеров! Бывших... – сдерживаясь, сказал Андрей. – Думаю, мало кто верит. Но они служат, только не революции, а России. И об этом никогда не надо забывать. Я же увлекся, забыл...

Он замолчал и в тишине услышал пронзительный, но приглушенный толстыми стенами крик. Показалось, что доносится он с улицы, однако Юлия, заметив настороженность гостя, озабоченно объяснила:

– Кузьма кричит, в живом уголке. Кузьма – старый павиан.

– Отчего же он кричит? Голодный?

– Нет, просто солнце село, – улыбнулась Юлия. – Когда становится темно, он боится.

Андрей чувствовал, как его тянет на откровенность, но крик, так похожий на человеческий вопль ужаса, смутил и несколько отрезвил.

– Говорите, говорите, – подбодрила Юлия. – У вас такая странная жизнь, и лицо... Когда вы молчите, оно делается страшным. А когда заговорите – красивый.

– Я не умею вести светских бесед, – признался Андрей. – С пятнадцатого на фронте, отвык.

– А я тоже не умею, – засмеялась она. – Мои родители были очень бедными людьми, и с десяти лет я жила в чужой семье, у дяди. А там говорили только о революции.

– Господи, сколько лжи! Сколько обмана и вранья! – вдруг прорвало Андрея. – Все пропитано, все уже распухло от их сладкой лжи! Не могут обмануть – угрожают, а кто не боится – берут в заложники сестру, мать, старого отца. Воровство по России идет...

– О чем вы? – испугалась Юлия.

– О вашей революции! – отрубил он. – Слово только французское, а по-русски – воровство.

– Но восстал народ, – возразила она не совсем уверенно. – Народ совершил революцию. Он победил.

– Да его обманули! – чуть не закричал Андрей. – Ему наврали и повели за собой. Большевики, меньшевики и прочие... Они обещали ему хлеба и любви. Хлеб и любовь – это коммунизм. Но только чтобы взять власть! Взяли... А теперь не дадут ни хлеба, ни тем более любви. Хуже того – отнимут последнее.

– Вы же контрреволюционер! – догадалась она. – Самый настоящий! Наверное, вы были очень богатым человеком, да?

– Я? – переспросил он, оглядывая стены. – Я жил беднее, чем ваш революционный дядюшка! Мы жили по-крестьянски, в захудалом сибирском уезде.

– Отчего же тогда вы так не любите революцию?

– Скажите мне, Юлия, – спокойнее продолжал Андрей, – что такое революция? За что ее можно любить? За то, что революционеры использовали завет Моисея – разделяй и властвуй?

За то, что поделили целый народ на классы? И одних взяли с собой, вторых пристращали, а третьих и четвертых натравили друг на друга?

Ему стало противно от своих слов. Что толку переливать из пустого в порожнее? Сколько уже было подобных разговоров, от которых в голове оставалась каша, на душе мрак и впереди тупик! Сразу после октябрьского переворота офицеры на фронте до хрипоты спорили, жуя непривычные для языка слова. В окопах грызлись между собой солдаты, на митингах чуть ли не врукопашную сходились приезжие штатские агитаторы.

«О чем мы говорили? О чем? – думал он. – Будто напасть какая-то, навязчивый бред...»

Андрею представилось, как сейчас примерно такой же диалог идет в каждом доме Москвы, в каждой квартире. И не только в Москве – во всех городах и селах миллионы, десятки миллионов людей, запершись или, напротив, распахнув двери, говорят и спорят об одном и том же. Если убрать стены домов и лачуг, то вся страна в этот миг превратится в одну орущую толпу. Да разве может родиться хоть одна светлая мысль в этом оре? И разве прибудет любви и хлеба?!

Далеко за стенами, в чреве бывшего купеческого особняка, кричал от страха павиан Кузьма.

Они долго молчали. Разогретый на керогазе ужин остывал, за окнами сгустилась темнота.

– Как же вы живете? – беспомощно спросила Юлия. – И как дальше жить станете?.. Я помню, как тяжело было дядюшке. Его бросали в тюрьму, угоняли в ссылку, он подолгу прятался и жил на чердаках. Но у него была светлая идея. А вы? Откуда у вас берутся силы жить? Нет-нет! Не жить, а не бояться?

– А я боюсь, – признался Андрей. – Только терплю.

– Как странно, – проговорила она задумчиво. – И страшно... Вы совсем непонятный человек.

Андрей почувствовал, что выговорился, что сжег все заготовленные для Шиловского слова и, будто сон на посту, медленно и коварно подкрадывается усталость. Он посмотрел на часы – все сроки вышли.

– Хотите вина? – неожиданно предложила Юлия и потянула дверцы стеклянной горки. – В Москве «сухой закон», но дядя недавно привез двадцать бутылок старого вина. Я уже пробовала!..

– Благодарю, – бросил он. – Вашего дяди я не дождусь. Мне пора. Было очень приятно познакомиться. Честь имею.

В передней он снял фуражку с вешалки – оленьих рогов, – крепко насадил на голову. Чувствовал, что Юлия стоит сзади и смотрит ему в спину. Андрей взялся за ручку двери, когда она спохватилась:

– У вас есть ночной пропуск?

– Пропуск? – Он медленно обернулся. – Зачем?

– Чтобы не задержал патруль!

– У меня есть мандат.

– Без пропуска все равно задержат.

– Убегу!

Юлия схватила его за руки:

– Не пущу! Вас убьют! Патруль стреляет, если бегут! Я сама видела...

«Теперь так и будет, – обреченно подумал он. – Есть пропуск – живи, нет его – ты вне закона. В камере было лучше, в «эшелоне смерти» я был свободнее...» Он вспомнил, что однажды поздно вечером их уже останавливал патруль и Тауринс предъявлял пропуск. На два лица. Они даже ему личного пропуска не дали...

Окончательно сломленный, он тихо попросил:

– Налейте мне вина... А спать я буду вот здесь, у порога. Как и положено вашему псу. Где обычно спит ваша собака?

– Что с вами, Андрей Николаевич? – Юлия по-прежнему держала его за руки. – Не смейте так говорить!

– Дайте мне вина!

– Сейчас, только успокойтесь. – Она метнулась на кухню. – Дядя к вам очень хорошо относится, поверьте! Если не сказать больше...

– Не говорите! Я сам все очень хорошо чувствую! – засмеялся Андрей. – Я ему так благодарен! Он спас от смерти! Он вытащил меня с того света! Пригласил в свой дом и даже в «сухой закон» достал вина! Ну скорее, Юлия! Иначе я стану кричать, как ваш павиан. Видите, света нет, тьма кругом, тьма, и мне страшно...

Он схватил поданный Юлией бокал, выпил одним духом и, опомнившись, провозгласил тост:

– За хозяина дома! За моего хозяина!.. Что же вы не пьете? Вы обязаны выпить за господина!

Она, заражаясь его истеричностью, налила себе полный бокал, выпила, не поднимая глаз.

– Bravo! – закричал Андрей. – Еще раз! Еще хочу за хозяина!

Андрей сам налил вина – бутылка была старая, с медалями, наверняка из царских погребов, и это еще добавило яростной веселости.

– Служить такому человеку – счастье, Юленька! Да здравствует революция!

Он выпил, но жар нетерпения и какого-то буйства еще сильнее палил грудь. Тогда он схватил тяжелую граненую бутылку и, запрокинув голову, вылил в рот, вдавил в себя оставшееся содержимое.

– Это за светлое будущее, – выдохнул Андрей. – За любовь и хлеб.

– Как же помочь вам? – чуть не плакала Юлия. – Вам плохо? Вам горько, да? Скажите, чем я могу помочь?

– Ах, благодетельница вы моя! – захохотал Андрей. – Да я стану хвостом вилять, руки лизать!..

– Андрей Николаевич!

– Лаять я научусь! И будьте спокойны: ни дома вашего, ни революции никто не тронет! Я страж! Я верный раб и страж!

– Ну что же мне делать? – стонала она. – Чем же помочь?

– Дайте еще вина! – подсказал Андрей. – Пока хозяин не видит! Дайте еще одну кость!

– А вам поможет? Поможет?

Юлия достала приземистую, пузатую бутылку, но, подавленная и растерянная, выронила ее на пол. Андрей чуть ли не на лету подхватил бутылку, бросился целовать руки Юлии. Она высвободилась, отбежала к окну, глядя с жалостью и страхом. Андрей изломал, сокрушил закупорку, вынул притертую пробку, вдохнул запах вина:

– Боже! Веками пахнет... Попробуйте, Юлия! Это же дух времени!

Она отшатнулась, помотала головой. Андрей не отступал:

– Тогда выпейте со мной! За униженный русский народ. За измученную Россию! За умершую! Не чокаясь, как на поминках.

Всунув в ее руки бокал с вином, он с трудом выцедил свой и долго стоял, опустив голову. Наверное, Юлии показалось, что он уgomонился.

– Я совсем вас не понимаю, – проговорила она. – Вы сильный человек. Я же чувствую в вас такую силу!.. Но вы – как ребенок!

Андрей только рассмеялся, опершись о стол:

– Нет, вы понимаете, все понимаете... Даже отчего кричит ваша обезьяна! – Он взял бутылку и бокал, догадливо поднял их над головой. – Мы сейчас угостим патруль! У него ведь тоже собачья служба!

Юлия догнала его у двери, заслонила ее собой.

– Не пушу! Андрей Николаевич, пожалейте меня, прошу вас!

– Хорошо, – согласился он. – Пожалую. Но давайте тогда подадим вашему охраннику!

Он там в одной гимнастерочке, озяб!

– Не ходите, он латыш и не понимает по-русски...

– Ничего, поймет! – заверил он, отстраняя Юлию. – Все-таки собачья душа! Пусть порадуется!

Андрей сбежал с крыльца, отыскивая взглядом красноармейца, закричал:

– Стрелок! Эй, товарищ!

Юлия дрожала, стоя на крыльце, и зажимала ладонью рот.

Охранник маячил на своем месте – у калитки. Он и правда озяб, ежился, обнимая холодную винтовку.

– Пей! – Андрей подал вино. – Этому напитку полста лет, не меньше. Пей, а то где еще попробуешь царского!

Латыш осторожно и недоверчиво взял вино, пробормотал что-то на своем языке и, утерев губы, словно боялся запачкать бокал, выпил. Выпил и рассмеялся:

– Корошо! Корошо!

И Андрей засмеялся, толкнул его в плечо и, так смеясь, пошел в дом. Юлия заперла дверь на ключ, сказала решительно:

– Никуда больше не пушу!

– А мне больше никуда и не нужно! – закричал он и повалился в кресло. Увидев рояль у окна, завешенного черными гардинами, размел их, разгреб, чтобы было светлее, и откинул крышку инструмента. – Играть буду! Играть и петь!

Руки отвыкли, не гнулись, и костяные клавиши, желтевшие в сумерках, выскальзывали и разбегались под пальцами. Он все-таки приловчился, нашел аккорд и запел:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Однако бросил руки на колени и замолк, потом зашевелился и вновь повеселел.

– Нет, лучше спою песню врага моего! Гимн армии Александра Васильевича, адмирала Колчака!

Он подобрал мелодию, инструмент под его руками играл грубо, визгливо – словно просил пощады и хотел вырваться.

– Вовеки славься Господь в Сионе! – прокричал Андрей первую строчку гимна и снова замолк. Помедлив, закрыл крышку. – Не поется мне и не плачется, – выговорил он, глядя в лицо Юлии. – Вы устали от меня... Хорошо, я иду на место. Где мое место? У двери? – Направился было в переднюю, однако спохватился, заговорил тихо, доверительно: – На хозяйской кровати хочу! Пока хозяина нет! Где его спальня?

– Андрей Николаевич, милый! – взмолилась Юлия. – Я вам постелю в гостевой комнате. Идемте!

– Нет, хочу на хозяйской! – закуражился он и пошел сквозь анфиладу. Заблудился, попал в тупик, но узнал дверь ванной.

Юлия попыталась увести его, однако Андрей засмеялся и, указывая на ванную, проговорил восхищенно:

– Я здесь воду украл! На четвереньках ползал...

Он побежал по лестнице наверх, Юлия не отставала, уговаривала, молила его; Андрей лишь пьяно смеялся и дергал двери комнат.

– Знаю! Знаю... Завтра будет порка. Но – хочу! На хозяйской!

И Юлия сама открыла перед ним маленькую дверцу, ввела в узкую, почти пустую комнату с одним окошком. Андрей увидел солдатскую кровать, заправленную солдатским же одеялом; рядом были тумбочка, табуретка и расшлепанные домашние туфли.

– Что это? – спросил он, словно напугавшись голых стен и аскетической обстановки. – Одиночка? Камера?

– Дядюшкина спальня, – виновато ответила Юлия. – Он не любит, чтоб сюда заходили... И убирает сам.

Андрей вышел из комнаты и послушно направился за Юлией. В глазах почему-то стояла перетертая, вылушенная телами солома, в которой лежал Шиловский в «эшелоне смерти», и земля – тяжелая, каменистая земля у железнодорожной насыпи, серо-синеватая, напоминающая цвет солдатского одеяла.

В гостевой было темно – черные шторы не пропускали даже хилого, сумеречного света. Будто сонный, с закрытыми глазами – все равно ничего не увидеть – Андрей разделся, ощупью нашел кровать, уже кем-то приготовленную и неимоверно широкую, так что не достать краев. Шелковисто зашуршала простыня на тяжелой перине, пуховое же одеяло, наоборот, показалось легким и отчего-то колючим. «Это солома, – подумал он. – Или нет, сено, на сенокосе...»

– Я принесла вина, – услышал он шепот. – У вас пересохли губы...

Каким-то образом в руке оказался бокал. Андрей привстал и выпил его до дна. Вино пахло лугом – солнцем, подсыхающей скошенной травой – и свежими огурцами. Потом он вспомнил, что это вовсе не огуречный запах. Так пахнет папоротник, если его сорвать и растереть в ладонях.

– Спи спокойно, – у самого уха прошептал знакомый голос, и Андрей ощутил на своем лице маленькие, шершавые руки. – Вы сильный, вы не боитесь смерти. А человек, который не боится смерти, победит всех своих врагов.

Пахло сеном, летним покосным зноем, и вдруг откуда-то из темноты посыпалась мелкая, колкая труха.

– Аленька? – позвал он. – Где ты, Аленька? Я тебя не вижу...

– Я здесь, здесь, с тобой, – отозвался чужой голос. – Вот мои руки...

«Это не Аленька», – подумал Андрей, однако узнал руки, шершавые и колючие от заноз.

– Аленька, – проговорил он. – Вино летом пахнет... А где мой конь? Где конь? Его расседлать нужно... Заподпружится...

– Все спокойно, милый, – серебрился шепот, и рука обласкивала шрам. – Конь здесь, все хорошо...

«Так не бывает, – словно кто-то сторонний подсказывал ему, и кололись эти слова, будто сенная труха. – Ты же сам знаешь, и быть не может. Обман, чувствуешь, обман...»

Он уже ничего не чувствовал, не видел, да и не слышал тоже...

Сон был глубоким и таким далеким, что доставал детство. И пробуждение скорее напоминало возвращение из прошлого. Чудилось, будто он идет по бесконечной анфиладе комнат: вот комната детства, вот комнаты юности, почти сливающиеся в единую, но все равно разные. И – последние, замыкающие, похожие то на «эшелон смерти», то на камеру-одиночку в Бутырской тюрьме. Прежде чем проснуться и ощутить явь, прежде чем выпутаться из бесконечной вереницы снов, он вдруг вспомнил, где находится и что произошло. Вспомнил, и захотелось, чтобы и это оказалось сном. Однако, открыв глаза, Андрей увидел темную гостевую спальню, серые квадраты рассветных окон, проступающие сквозь черные шторы, и в этом неясном сумраке – каштановые, словно подсвеченные, разбросанные по высоким подушкам

волосы. Лицо Юлии и во сне было напряженным, а в уголках губ и глаз таилось что-то неуловимое, какая-то готовность к испугу. Казалось, сделай неосторожное движение – и по лицу ее скользнет страх, а потом уже все другие чувства.

Явь была осознанной. Молчаливая и кричащая о себе реальность не оставляла никакой надежды.

«Что же я наделал? – без отчаяния, но горько подумал Андрей. – Что я сотворил? Зачем?»

И этот вопрос сразу и прочно засел в голове.

Он вспомнил, что называл ее Аленькой. Но губы пересыхали, и его невнятный шепот... Чужое имя она принимала за свое. Аленька – Юленька...

Зачем?

Он спустился с кровати и встал на колени перед Юлией. В сумерках лицо ее казалось таинственным и трогательным, словно на иконе. Теплая волна нежности окатила Андрея, но он лишь дотронулся до разметанных волос и спросил:

– Зачем?..

Поднялся на ноги. Ковер был толстый, так что казалось – ноги стоят в траве. Стараясь не шуметь, Андрей оделся и с сапогами в руках осторожно вышел из гостевой.

«Как же это случилось? – спросил он, пытаюсь разогреть тугие, неповоротливые мысли. – Куда же я иду? Господи, не хотел идти, не думал – ноги сами несут... Только куда? Зачем?!»

В анфиладе, где были не зашторены окна, уже всюду разливался утренний свет. Напольные часы в одной из комнат показывали четверть пятого. Маятник с невидимым из-за черного стекла рычагом беззвучно метался в своем окне.

«Так это же конец! – неожиданно озарила мысль. – Теперь мне ничего не нужно. Сейчас я уйду и больше никогда не вернусь. И меня никто не найдет. Как же я раньше не подумал?! Можно было уйти еще вечером...»

Он направился к двери, ступая осторожно; а поняв, что идет по-воровски, встал, усмехнулся: «Дворянин... Русский офицер...»

Выход был рядом, и фуражка уже в руке – будто бы в этом доме ничего не остается...

Андрей оглянулся назад, тяжело потряс головой: «Вор, вор...»

Не тая шагов, он вернулся в гостевую и встал у порога. Юлия сидела на кровати, завесив лицо волосами.

– Я никому, никому не скажу, – тихо проронила она, выпростав лицо. – Об этом никто никогда не узнает. Эта тайна только наша с тобой.

Он молчал и клонил голову. Голос ее волновал душу, и становилось еще горше.

– А дядюшке скажу, что ты ушел еще вечером. Не дождался и ушел.

Андрей не знал, как ей сказать – «ты» или «вы». Он взял ее горячую руку, поцеловал и с трудом выдавил:

– Прощения мне нет, я знаю...

– Не уходи, еще рано. – Юлия слабо попыталась задержать его, обнять за шею. – Еще патруль на улицах... Ты не уйдешь?

– Простите меня, Юленька...

– погодите, я во всем виновата! – горячо зашептала она. – Я все когда-нибудь расскажу!.. А сейчас не уходите! Патруль!.. Принесите мне вина!

Андрей пошел на кухню, взял раскупоренную бутылку, но тут же поставил ее обратно и, прихватив фуражку, повернул в замке ключ. Сквозь щель приоткрытой двери он неожиданно увидел Тауринса. Тот сидел на скамейке возле ворот и о чем-то тихо беседовал с охранником. Лица обоих были сосредоточенны и настороженны, словно там происходил какой-то сговор.

Андрей прикрыл дверь и услышал пронзительный и злой хохот за спиной. Он вздрогнул, будто от выстрела; ему почудилось, что, плутова по дому, он давно ждал этого смеха и готовился к нему, но, как всегда, выстрел звучит неожиданно...

Он двинулся на хохот – казалось, смеются на кухне, однако там было пусто. Смех между тем удалился куда-то за стену, и тогда Андрей отыскал дверь черного хода и очутился перед другой дверью, обитой войлоком. Он рванул ее и почуял резкую вонь пота, того самого пота, что смыл вчера в ванне. Смех оборвался. Андрей ощутил чей-то пристальный взгляд и перешагнул порог. Уцепившись руками за прутья железной клетки, старый павиан смотрел с печальной и злой усмешкой, как поживший на свете, неприкаянный человек.

– Ты смеешься? – спросил Андрей. – А сам-то? Провонял весь...

Павиан подпрыгнул и выбросил руку из клетки – то ли просил что, то ли ухватить норвил. Андрей чуть не наступил на черепаху, замершую в проходе, отодвинул ее ногой, как что-то непотребное и мерзкое.

– Живой уголок...

Рассерженный павиан носился по клетке, гортанно кричал и тряс прутья. Внимание Андрея привлек огромный аквариум в углу комнаты, на треть засыпанный каким-то серым мусором. Причем на расстоянии создавалось впечатление, будто мусор этот медленно, неведомо каким образом пересыпается, пульсирует, как живой. Пораженный увиденным, Андрей стоял несколько минут со странным чувством нереальности: в аквариуме оказался самый настоящий муравейник. Высокий, правильной формы конус поднимался среди стеклянных стен и будто дышал от кишевших на нем муравьев. Это движение завораживало. Муравьи пытались штурмовать стеклянные стены, но, взобравшись на вершок, срывались и падали в муравейник. Правда, таких, что ходили на приступ, было мало; подавляющее большинство суетилось по склону пирамиды, совершая незримую и непонятную работу.

За спиной вновь захохотал павиан, но смех его теперь казался веселым и беззлобным. Ощущение беспомощности и детского страха исходило от муравейника. Строгий порядок и одновременно хаос цепенили мысли и чувства.

Андрей сунулся к окну, открыл створки. С улицы пахнуло утренним ветерком и блаженным запахом молодой листвы. Махнув через подоконник, он спрыгнул на землю и, пригибаясь, направился к решетке ограды. Огляделся. Кажется, все было спокойно на заднем дворе, да и решетка была много ниже, чем у парадного подъезда.

Сначала он бежал дворами, наткнулся на запертые ворота или попадал в тупики, карабкался через поленницы дров, через крыши сараев и, оглядываясь назад, все равно видел белые величественные стены дома Шиловского. И лишь когда Андрей очутился на какой-то улице, то почувствовал, что будто сейчас только вырвался из какого-то огромного кишашего муравейника, губельного и непонятного для испуганного человека.

Почти четверть часа он бежал по брусчатке нешироких улочек и переулков, оглашая спящий город звучным стуком сапог. Не хотелось думать, правильно ли он бежит и в какую сторону следует двигаться; чем шире становились улицы, тем свободнее дышалось и легчал шаг. Скоро он оказался на набережной, на таком просторе, что дух захватило. Над рекой курился туман, и прибрежные кусты бесшумно чертили воду. Андрей хотел спуститься вниз и умыться, однако услышал властный окрик:

– Стой! Ни с места!

Скорым шагом, скидывая винтовки с плеч, к нему шли трое в гражданском.

«Патруль! – догадался он. – Это же патруль!»

И, словно подстегнутый этой мыслью, он побежал вдоль реки, рыская взглядом по бесконечным стенам домов. Хоть бы шелка!

Первый выстрел был вверх. Пуля прозвенела высоко над головой. Он прибавил ходу.

– Сто-ой! – кричали сзади. – Стоя-ать!

Ударили сразу две или три винтовки, пули срикоштели от мостовой у самых ног и лишь добавили азарта. Андрей запетлял возле стен зданий, стараясь попасть в створ фонарных столбов. Оглянулся. Патруль бил с колена, стоя посреди мостовой.

– Стреляйте, сволочи! – крикнул Андрей, наполняясь каким-то злым отчаянием. – Огонь! Ну?!

Он выпрыгнул на середину набережной и помчался, делая скачки вправо и влево. Обронил фуражку, но остановиться не смог.

– А-а-а! – кричал он после каждого залпа, вымещая в этом крике всю боль и отчаяние. – А-а-а!

И вдруг все смолкло. Андрей развернулся и побежал задом. Трое патрульных торопливо заряжали винтовки, а еще один, четвертый, бежал за ним, выставив штык.

– Плохо стреляете, гады! – остановившись, закричал Андрей. – Вам только своих стрелять!

Клейкая слюна связывала язык. Он хотел крикнуть им еще, крикнуть такое, чтобы они окаменели. Но не было таких слов.

Патрульный, что бежал следом, выстрелил на ходу, и Андрея обрызгало стеклом разбитого окна. Он бросился к стене и заметил арку проходного двора. Добежал, свернул в нее и, прислонившись к камню, перевел дух. Затем припустил через двор к следующей арке и скоро оказался на параллельной улице. Однако заметил, что вверх по ней бегут двое солдат, как раз наперерез. Прижимаясь к домам, он шагом приблизился к подъезду, потянул дверь – заперто. Солдаты его не видели, но под аркой уже слышался шаркающий бег. Андрей прошел до угла дома и перемахнул через деревянный щербатый забор. В углу двора стоял каретный сарай. Однако прятаться уже не было охоты. Все стало противно: и этот бег, и крик на улице, и занимающееся над Москвой утро.

Он ушел за каретник, забрался в густой прошлогодний чертополох и лег вниз лицом.

3. В год 1931...

Есаульский ночлежный дом, некогда поставленный милостью купцов и золотопромышленников для нищих, зимогоров да пропившихся приискателей, был переименован в Дом колхозника, и потому впускали туда лишь по справкам члена колхоза. Остальной приезжий народ, застигнутый ночью, гуртился во дворе, ожидая благосклонности молодой стриженной женщины, приставленной следить за порядком. А пока жег костер, приворовывая дрова, и с тоскливой надеждой поглядывал на высокое крыльцо, где, говорят, после одиннадцати часов появлялась хозяйка и отбирала ночлежников. А поскольку бесправочный народ был каждый день один и тот же – те же нищие, калеки, бездомные бродяжки и еще бог весть какой люд, как сор, несомый по земле, – редко кому удавалось переступить порог заповедного отныне дома. Но зато ближе к полуночи во двор приходил милиционер проверять документы, и тогда оказывалась еще одна возможность переночевать в тепле, если у кого таковых не обнаруживалось либо вызывали подозрение. А уж самых последних, что оставались под открытым небом, в основном нищих и калек, разводили по домам сердобольные есаульские старушки.

Не найдя приюта в церкви – в ней был устроен склад потребительской кооперации, – мать Мелитина расспросила людей и отправилась в Дом колхозника. Там, во дворе, уже пылал костер, вокруг которого сидел и стоял бесприютный народ. Появление монахини со старцем на закорках вызвало набожное оживление. Круг пораздвинулся, помогли усадить на пустой ящик Прошку Греха и самой дали место. А тем часом горбатая старуха-нищенка, согнутая пополам, рассказала, как можно попасть на ночлег, и, отозвав, поманив скрюченной рукой в сторонку, подалее от света костра, попросила благословения. Мать Мелитина не отказала, и тогда нищенка, целуя руку, заговорила, зашептала:

– Матушка! Мученица преблагая! Да как же ты в рясах-то ходишь? Ведь запрет ныне! Строгий запрет! Как увидят, так сразу и заарестуют!

– Как же мне ходить, сестра, коль постриг приняла? – возвращаясь к огню, спросила мать Мелитина.

– И то правда, и то, – заворковала старуха. – Так боязно, уж очень боязно.

– С верою жить не боязно...

– Истинно, матушка, истинно, – покивала, поклонялась нищенка. – Мы вот ранее при церквях жили, при них питались, а ныне вот при какой церкви живем. – Она указала палкой на крыльцо. – Да и ту ведь отняли. Добро бы, места не было, а то пустая стоит – и не пускают. Семь ли, восемь человек токо и живет-ночует... Вот глядите, скоро диакон на крылец выйдет.

– Ты, бабка, не болтай-ко языком, – хмуро заметил не старый еще, бородатый странник. – ГПУ-то не Бог, мигом приберет. И нас заодно, что слушаем тебя, дуру.

Старуха умолкла, поглядела на мать Мелитину – дескать, вот видишь, боязно жить.

– А я дак не боюсь, – сказал безногий калека с мешком, надетым на обрубыш тела вместо штанов. – Чего захочу, то и скажу. Я имя в глаза говорю. Оне возьмут меня, а потом выгонят. И сделать ничего не могут, хоть убейся. Таскают, таскают меня по кабинетам на руках, как барина, а я хохочу!

Он подвинулся к костру и выкатил голой рукой из огня печеную картошину, разломил, понюхал и одну половинку подал Прошке Греху.

– Вот я смелый, а ты трус! – Калека ткнул пальцем в сторону бородатого. – А почему, думаешь? А потому, что ты полный еще человек, а я – полчеловека. И у меня душа в пятки не уходит, потому как нету пяток-то! Она у меня вот тут всегда, – он постучал по груди, – и никуда не денется.

– Болтать ты только смелый, – проворчал бородатый. – Ботало коровье.

Калека ничуть не обиделся. Вторую половинку картошины он вдруг подал матери Мелитине. Та приняла, поблагодарила.

– Оно ведь как устроено, братец ты мой, – продолжал безногий. – Вот, к примеру, одне люди боятся болезни, другие не боятся и не болеют. А когда страх-то обчий на народ нападает, обязательно надо, чтоб хоть один не боялся да говорил. Да не просто молчал языком, а то говорил, про что весь народ думает, да сказать не смеет. Ежели разобраться да сказать по-нынешнему, я навроде агитатора теперь живу. А коль хоть один говорит, а другие про то думают – не пропадет народ! Верно ведь, матушка?

– Верно, брат, – подтвердила мать Мелитина и заметила, как все у костра посмотрели на нее. Глаза были настороженные. Стоило ей сейчас взглянуть прямо, и все бы потупились.

– Я тоже ничего не боюсь! – неожиданно заявил Прошка Грех. – Всю жись не боялся. Драться всегда первый был. Меня хоть в землю затопчи – вылезу и дам. А нынче к Боженке собираюсь. Мне люди все растолковали. Дойду, не побоюсь.

– Тебе нечего бояться, – согласился калека. – От тебя тоже полчеловека осталось.

– Ой-ой-ой! – закудаhtала старуха-нищенка и засемила к крыльцу. – Идет благодетельница наша! Идет, родимая!

И похромали, затрусили, поскакали к крыльцу все, кто только что был у огня. Остались лишь мать Мелитина, Прошка да тот бородатый. В это время дверь распахнулась, и выступила молодая дородная женщина в платке, повязанном по-старушечьи.

– Матушка! Благодетельница! – закричали, запричитали убогие. – Не оставь без крова! Пожалей, пусти ради Христа!

И полезли по ступеням, поползли, поскакали.

– Ну-ка! Ну-ка! – застрожилась хозяйка. – Ишь, саранча! Дармоеды! Никого не пущу! Провоняете мне все матрасы, а они казенные!

– На полу ляжем, роденькая! – блажили нищие. – А если чего, дак подотрем за собой!

– Кыш! Кыш! – замахала руками хозяйка. – Не видите, что ли, – Дом колхозника! Сколько раз говорено – не ходите!

Мать Мелитина перекрестилась, прошептала молитву в звездное ночное небо.

– Чего это они? Не пойму. Чего? – заерзал на ящике Прошка Грех. – Ровно взбесились.

– А они каждый раз эдак, – сказал бородатый странник. – Полчеловеки...

Хозяйка спустилась с крыльца и подошла к костру. И только тут увидела мать Мелитину, смерила взглядом, удивилась:

– Монашка, что ли?

– Монахиня, – поправила ее мать Мелитина.

И увидела, как унялось негодование в глазах хозяйки.

– Ну заходи, ночуй, – позволила та.

– Я не одна здесь, – спокойно сказала мать Мелитина.

– Со стариком этим? – хозяйка кивнула на Прошку Греха.

– С ним. И со всеми другими.

Хозяйка обескуражилась, хмыкнула:

– Всех за собой возьмешь, что ли?

– Одна пойти не могу. – Мать Мелитина потупилась.

– Ну как хочешь! – Хозяйка махнула рукой и торопливо пошла в дом. С треском хлопнула дверь.

Толпа бездомных сгуртилась у крыльца, затаив дыхание. В костре трещали и стреляли углем еловые поленья. Крестьянские лошади у коновязи хрупали сено.

Молча и как-то бесшумно убогие вернулись к огню, встали в кружок, грея руки. Согнутая пополам нищенка тихо заплакала, и слезы не текли по ее щекам, а капали прямо из глаз на землю.

– Над убогими издеваются, сволочи! – заорал калека, потрясая над головой деревянными подручниками. – Над калеками измываются! Да, я у Колчака воевал! Но ведь я челове-ек! Пускай, полчеловека, но не полскотины же!

Все слушали его громогласный крик и вздрагивали с каждой фразой. По соседству забрехала собака, потом еще одна. Калека заскрипел зубами. Потом снова стало тихо. Лишь боро-датый покхекал многозначительно и сказал с издевкой:

– А вы подавайтесь-ко в колхоз, жизнь сразу и похорошеет. Все нынче в коллективизацию передали.

– Одна надежда на милицию, – подал голос неприметный, плоский, как тень, человек. – Меня тут не знают, можа, и заберут...

– И сердобольных Господь пошлет, – вставила горбатая нищенка. – Матушка! Скоро ль свету-то конец? Скоро ль покой будет?

– Не скоро, сестра, не жди, – смиренно ответила мать Мелитина. – Нам, сирым да убогим, от боли своей Страшного суда хочется, а люди-то ведь жить хотят. И пускай живут без страданий, пускай детей рожают да растут, радуются пускай. А мы уж за них пострадаем. Мы у Бога приметные, на виду. А кто на виду, с того и спрос.

Прошка Грех заснул сидя, с открытыми глазами, но половинку картошины не выпустил – наоборот, стиснул так, что белая мякоть полезла из обугленной шкурки. Убогие поглядывали на ворота: ну как пошлет Бог кого? Однако распахнулись двери дома, и на пороге появилась хозяйка.

– Ладно, кусошники, заходите, – позвала она. – Да чтоб тихо, а то люди спят.

Толпа даже не шевельнулась – не поверила.

– Что? Тридцать три приглашения вам надо? – поторопила хозяйка.

Убогие недоверчиво потянулись на крыльцо и, достигнув дверного проема, бросались туда, словно ночные бабочки на свет. Мать Мелитина подняла на руки отца и двинулась последней. Хозяйка ждала у двери.

– Ты, матушка, ко мне заходи, – сказала она. – В эту дверь. А я голь перекатную по углам распахую.

Мать Мелитина внесла Прошку в комнату, усадила на порог, глянула в передний угол – пусто... Быстренько достала из котомки склянку со святой водой, окропила углы, прочитав молитву. Тут и хозяйка вернулась, подавленная, однако суетливая.

– Что же ты дедушку на пороге-то держишь? На лавку вон посади.

– Благодарствую, – поклонилась мать Мелитина. – Голубушка, тятя мой обезножел, совсем идти не может. Нет ли у тебя кадки да воды горячей? Его бы в сенной трухе попарить, отошел бы.

– Да как же нет? Есть, – будто даже обрадовалась хозяйка. – Сейчас принесу. Воды только мало горячей, так согреем. Долго ли?

Она внесла кадку, схватила ведра, побежала по воду. Мать Мелитина нагребла трухи из конских яслей в подол, засыпала в кадку, залила кипятком, что в чугунке на печи был, накинула рядно. Хозяйка воды принесла, в печь дров подбросила, захлопотала у самовара. И лицо ее будто светом наполнилось, щеки зарозовели.

«Не от добра девка суетится, – подумалось матери Мелитине. – От нужды хлопочет, никак беда у нее случилась...»

Когда согрелась вода, мать Мелитина посадила в кадку отца, укутала сверху одежиной и чаю подала.

– Те-епленько, – заулыбался, обрадовался Прошка Грех. И тут же заснул, однако кружку с чаем не выронил.

Хозяйка испугалась, что у него глаза открытые:

– А он не помер?

– Нет, голубушка, живой, – успокоила мать Мелитина. – Я в Туруханском – прости, Господи! – чуть грех не совершила, руки на себя хотела наложить. Он увидел – вот с тех пор и не закрываются глаза...

Лицо хозяйки вытянулось, страх промелькнул в расширившихся зрачках. Потрясенная внезапным чужим откровением, она замолчала и лишь поглядывала на гостей так, словно спросить хотела: вы меня не тронете?

После чая мать Мелитина разбудила отца, вытащила его из кадки и, обтерев полотенцем, одела, запеленала в рядно, будто ребенка, уложила на лавку.

– Окреп, – стонал от блаженства Прошка. – Силу чую. Завтра плясать буду!

– Спи, тятенька, спи, – увещевала его мать Мелитина. – До завтра еще дожить надо.

Хозяйка принесла матрац, постелила себе на полу, уступив кровать матери Мелитине, однако та воспротивилась, легла на полу. Наконец потушили свет, и сразу стало слышно, как за стеной стонут, бормочут и плачут убогие. Дом, их вечное пристанище, за долгие годы будто напитался этими звуками, слезами, и теперь, когда наступает тишина, отдает их, как отдает тепло жарко натопленная печь. Мать Мелитина слушала и тихонько, про себя, молилась. И неожиданно слух ее уловил сдавленный плач совсем близко, на кровати. Плач этот вплетался в другие всхлипы и ничем не отличался от них, разве что убогие плакали во сне, а хозяйка еще не спала.

– Ну что ты, голубушка, что ты? – тихо промолвила мать Мелитина. – Душенька твоя ноет? Тяжко тебе, родненькая?

– Не то слово, матушка, – сильнее, уже не таясь, заплакала хозяйка. – Пустила тебя, чтоб покаяться, а теперь не могу. Открою рот – слово не идет... В Бога-то я не верю, комсомолка я.

– А ты все равно покайся, – посоветовала мать Мелитина. – Не думай, что иноческий сан на мне. Расскажи, как бы матери своей рассказала.

– Я же матери рассказала! – захлебываясь слезами, вымолвила хозяйка. – Мать из дому прогнала... Теперь на порог не пускает... Одна, совсем одна осталась... Мне покаяться надо! Грех на мне! Ой, матушка, жить не могу...

– Так покайся, сестра, коль душа просит, – подбодрила мать Мелитина. – Ведь вся жизнь наша в том, что грешим да каемся. Нет безгрешных ни у Бога, ни у комсомола.

Мать Мелитина присела к ней на постель, погладила волосы. Хозяйка схватила ее за руку, прижалась слезным лицом.

– Я, матушка, ребенка убила! – горячим шепотом, будто не в себе, заговорила она. – На седьмом месяце вытравила!.. С подружкой, в бане... Старуха одна научила!.. А он... Он живенький вышел... И пищал так тоненько... Мы его сначала под полоч бросили... А потом в назем закопали...

Мать Мелитина перекрестилась. Где-то в глубине дома плакал младенец...

– Я от секретаря своего задитятеля... – говорила хозяйка. – Пожалела его, маленький он ростом, девки на него не смотрят... Он жаловался мне, страдал, я и пожалела... Его пожалела, а ребеночка не пожалела!.. Когда сказала ему – он и велел вытравить... Говорил: замуж возьму – и не брал! Сюда вот только пристроил, когда мать выгнала. И все грозит: кому скажешь – взыскание наложу! А то и вовсе исключу... Исключит – куда мне? Я ж неверующая! Как жить буду?! Я ведь в комсомол верю!..

Она проглотила слезы, всхлипнула длинно.

– Только ты уж, матушка, никому не рассказывай! – испугалась вдруг хозяйка. – Коль скажешь – с собой что-нибудь сделаю...

– Да что ты, голубушка. – Мать Мелитина поцеловала ее в лоб. – Ты ведь не передо мной сейчас покаялась, перед Богом.

– Я не верю в Бога...

– Коль не веришь, так и греха нет, – вздохнула мать Мелитина. – Отвечать-то тебе не перед кем. Откуда знать тебе, где грех, а где нет?

– Как же, матушка? У нас тоже есть свой устав, – призналась хозяйка. – Мы по нему жить должны...

Она снова зарыдала, замотала головой.

– По совести надо жить, – сказала мать Мелитина. – Совесть, голубушка, и будет твоя вера... Вот она тебя сейчас и мучает...

– Я уж ни есть, ни спать не могу, – всхлипывала хозяйка. – Чуть прикрою глаза – слышу: плачет он, пищит... Матушка! Скажи, посоветуй – как жить?! Я ведь скоро с ума сойду! Пожалей меня, скажи!

– Сказать-то скажу, да согласишься ли? – вздохнула мать Мелитина. – Хватит ли терпения да жалости у тебя...

– Хватит! Как скажешь, так и сделаю!

– Трудно будет, характер свой ломать придется, – предупредила мать Мелитина. – Стерпит ли душа? Она ведь у тебя сейчас будто рубаха, наизнанку надетая. А ее вывернуть надо швами внутрь. Пусть они тело твое трут. Хватит ли силы, не знаю...

Хозяйка затихла, напряглась, потом горько и сокрушенно спросила:

– Мне в Бога поверить надо, да?

– Что ты, милая! – вздохнула мать Мелитина. – Вера – это ведь не от нашей охоты или по обязанности. Вера в любви. Коли Бога любишь, так душа твоя всем людям открыта. Как же не любить, если человек создан по образу и подобию Божьему?.. Не могу я греха твоего отпустить. Искупить его нужно.

– Как же, матушка? Чем?

– Любовью да страданиями.

– Значит, молиться, замаливать, – обреченно сказала хозяйка.

– Молиться за тебя я буду, – успокоила мать Мелитина. – А ты живи. Живи да за людьми ухаживай, коль приставлена сюда. За нищими, за убогими. Мой за ними, стирай, убирай. Помогай им через силу. Тебе тошно, а ты все равно делай. Есть захочешь – пока они голодные, не ешь; спать захочешь – пока они не уснули, не спи. Им холодно – тебе холодно. Как за ребеночком своим, за ними ухаживай. Когда же почувствуешь, что любишь их, нищих да убогих, когда их болячки на тебе болеть станут – искупится твой грех.

Хозяйка притихла и долго лежала без движения. Потом встрепенулась, села на кровати:

– Сколько же ждать-то мне?

– Не знаю, – уклончиво ответила мать Мелитина. – Может, до утра, а может, и всю жизнь, к старости... Да ты не сомневайся, терпи, когда тяжело. Сколь грех твой тяжел, столь и терпение велико.

– Матушка! Матушка! – вдруг зашептала хозяйка сорванным голосом. – А верно говорят, будто души младенцев в ангелочков превращаются?

– Верно, голубушка, – вздохнула мать Мелитина. – Безгрешные они. Твой же ребеночек и вовсе мученическую смерть принял.

Хозяйка громко зарыдала, захлебнулась слезами.

– Мучает он меня!.. Над головой моей вьется... И плачет! И плачет!

Казалось, она впала в безумство, однако через мгновение голос ее стал сухим и жестким. Перевернувшись вниз лицом, она ударила кулаком по подушке:

– Лучше бы я тебя не пускала! Лучше не пускала бы!.. Голубушка, голубушка, а сама меня не любишь!

– Люблю, – не сразу сказала мать Мелитина. – Потому и молиться за тебя стану.

– Не верю! – сквозь зубы выдавила хозяйка. – Никому не верю! Меня никто не любит: ни мать, ни секретарь... И ты не любишь. Все вы только выгоду ищете. Мать хотела, чтоб я за секретаря пошла, а тому лишь бы переспать со мной... А ты из-за теплого угла!

Мать Мелитина тихонько встала, взяла на руки спящего Прошку Греха и под тяжелое молчание хозяйки пошла на улицу, к костру, коротать остаток ночи.

И всю эту ночь над Есаульском дул черный ветер.

Рано утром в Доме колхозника поднялась суматоха. На крыльцо выползла горбатая нищенка, закричала, заплакала:

– Матушка!.. Ой, люди добрые!.. Благодетельница-то наша задавилась!

Бородатый странник хладнокровно вынул хозяйку из петли, прямую, негнущуюся, положил на скамейку.

– Чего было злобу-то сеять, коль повеситься думала? – спросил он неизвестно кого. – По-доброму бы, дак хоть поминали добрым словом.

Нищие, убогие и колхозники, те, что по справкам жили в доме, сбежались в комнату хозяйки, говорили вполголоса, таращили заспанные глаза. Мать Мелитина сложила руки покойной на груди, связала их тесемкой, веки закрыла. Горбатая нищенка скакала вокруг, причитала:

– Как же ты решилась на эдакое? Да кто ж тебя в веревочку эту сунул? Какое печаль-горе жизнь твою задушило-о?..

Бородатому страннику надоело слушать нытье, и он цыкнул:

– Замолчь, бабка! Не велика и потеря...

– Да как же не велика-то? – еще пуще заголосила горбатая. – Ить человек был! Человек...

– Токо жила и делала по-скотски, – не сдался странник. – Нас и за людей не считала.

– Не держи уж зла, чего ты? – плача, заметила нищенка. – Вот ведь ночевать пустила. Знамо, была душа, ежели откликнулась...

Лицо висельницы становилось покойным, гримаса страдания разглаживалась, расходилась, словно круги по воде. Черный ветер улегся на рассвете и перестал звенеть стеклами в окнах. Постоялый народ незаметно разбежался, поскольку вызванная милиция стала составлять протокол и допрашивать свидетелей. Опять гуртились возле костра и пекли картошку. Безногий инвалид тяжело подтащил свой обрубыш поближе к матери Мелитине, достал что-то из мешка.

– Вот, глянь-ко... На столе нашел.

Мать Мелитина развернула клок бумаги. Химическим карандашом было нацарапано: «В смерти моей виноват комсомольский секретарь Яков Боровиков, в чем и подписываюсь».

– Он теперь у меня вот где! – Калека потряс могучим кулаком. – Я из него теперь всю кровь высосу!

– Дай мне, – шепотом попросила мать Мелитина. – А я как-нибудь распорядюсь.

– Не-ет, – засмеялся инвалид. – Ты не сумеешь!.. Он меня на руках носить станет. Я на него верхом сяду. И погонять буду!

Мать Мелитина кинула бумажку в костер, огонь как-то нехотя лизнул ее – не хотело гореть обвинительное слово! – покуражился вокруг и все-таки проглотил. Осталась лишь скукоженная черная тень от записки, на которой еще проступали пепельные каракули. Мать Мелитина размешала палкой этот бумажный остов, и все пропало.

Инвалид молча вытерпел, потом тихо спросил:

– Неужто и его спасти хочешь?.. Ее-то ты не спасла.

– Тебя хочу спасти, – вымолвила она.

– Что меня... – глупо сказал тот. – Богу-то и отдать нечего. Располовинили душу на земле.

Работник ГПУ стал пытаться убогих, спрашивать, кто с ней говорил последний, кто и что видел. Матери Мелитине пришлось назвать свое мирское имя. И заметила она, как встрепнулся вдруг бородатый странник, глянул черно из-под нависших бровей, но промолчал. А потом уже и глаз с нее не спускал, всюду по пятам ходил – видно, узнать что-то намеревался. Когда следователи ушли – начали сбегаться соседи, и скоро в Дом колхозника привели мать покойной. Перед крыльцом ударила она о землю, заголосила:

– Ой-ёй, дочушка! Да что же ты наделала с собою-ой!..

Пришла она не одна – в сопровождении угреватого, коротконого парня в кожаной тужурке. Глянула мать Мелитина – да сразу и признала, кто явился.

– Успокойтесь, мамаша, – скорбно-высоким голосом сказал парень. – Это дело вражьих рук. Она была честной комсомолкой. Мы выдвинули ее на руководящую работу. И мы похороним ее со всеми почестями!

– Спасибо тебе, Яков Назарыч, – причитала мать покойной. – Уж ты меня не бросай в тяжелую минуту.

Комсомольский секретарь зашел в комнату, постоял возле тела с опущенной головой и, выйдя на крыльцо, начал говорить речь:

– Враги народа и социализма оборвали жизнь прекрасной девушки-комсомолки. В ответ на это мы сплотимся теснее, сомкнем наши ряды и поднимем бдительность на высшую точку!

Его слушали колхозники-постояльцы, нищие, убогие и насмерть перепуганные соседи. Слова звучали так торжественно и скорбно, что многие заплакали, а кто-то из колхозников хмуро одобрил:

– Верно говоришь. Вся сволочь – к пролетарско-крестьянскому ногтю!

Инвалид-обрубыйш, торча в толпе, как гнилой зуб, лишь мычал и мотал тяжелой головой.

Мать Мелитина усадила Прошку Греха на ящик возле костра, дала ему хлебную корку и поднялась на крыльцо к оратору.

– Прежде чем ее схоронишь да почести воздашь, – прошептала она, склонившись к самому уху, – не забудь ребеночка прикопать. В назьме он лежит, возле бани. Похорони его, твой ведь ребеночек. А я никому не скажу, не бойся. И помолюсь за тебя. И ее отпою.

Он выслушал спокойно, с прежним траурным задором на лице, затем надел кепку и по локти опустил руки в карманы большеватой тужурки.

– Прошу религиозной пропаганды не проводить, – отчеканил он. – Почему рясу не сняла? Кто позволил? И чтоб никаких отпеваний! Комсомольцев не отпоете!

– Отпою, – снова зашептала мать Мелитина. – Хоть и нельзя, коль руки на себя наложила, но все равно отпою. Не по своей воле она погибла. А ты схорони ребеночка. Его и отпевать не надо. Не оставляй в назьме.

Секретарь не стал больше говорить перед народом и пошел давать распоряжения своим активистам, чтобы смастерили гроб и украсили его кумачом. Инвалид не выдержал, подскакал поближе и метнул в секретаря деревянный подручник. Но от волнения промахнулся и попал в активиста. Тогда он швырнул второй подручник – и тоже мимо. Застонал, замычал от бессилия и, повалившись боком, ударил кулаками в землю:

– Господи! Услышь меня! Покарай, покарай!

Все – горожане и приезжие, нищие и убогие – примолкли от его крика и, стоя у огня, смотрели, как горит веревочная петля.

Покойную увезли из Дома колхозника в родительский, а вместе с нею увели и мать Мелитину – совершить отпевальный чин. Мучили ее сомнения – можно ли отпевать висельницу? Но, поразмыслив, все-таки решилась. Как ни говори, хоть и шла к смерти неосознанно, да ведь исповедалась, покаялась в грехе. Да и жизнь-то ведь пошла такая, что по старым канонам – все во грех.

По дороге она видела, что следом за ней, на расстоянии, идет и бородатый странник. Потом, когда комсомольцы ушли и мать Мелитина приступила к обряду, странник тихонько прокрался в дом и устроился в углу. Он мешал сосредоточиться на молитве, искушал на мысли о земном: отчего-то думалось, что есть у него известие о сыне. Ведь не было же интереса, пока она мирское имя не назвала. Спросить бы... Да творя дело духовное, можно ли о сыне думать? Нельзя...

То была еще одна бессонная ночь, а какая по счету – и не упомнить. Далеко за полночь, читая Псалтирь у изголовья покойной, почувствовала мать Мелитина, как поплыли перед глазами строки и задвоилась свеча. Старушки, что помогали ей – подтягивали молитвы, – давно утомились и теперь спали сидя; их восковые лица, облегченные сном, разгладились и засветились изнутри. Мать усопшей, склонившись над гробом, замерла каменным истуканом, и в ее немигающем взгляде отразилась неумная материнская тоска. И только странник в углу не дремал и все таранился на мать Мелитину, ломая в раздумье крутую бровь.

Лишь когда ей почудилось, будто задышала покойная, пришлось отложить чтение и выйти освежиться на холодок, который обычно бывает по ночам Страстной недели ранней Пасхи. Во дворе она отыскала кадку с водой, разбила рукой легкое стеклышко льда и, умывая лицо, услышала где-то на огороде неясную возню и отрывистое человеческое дыхание. Неподалеку от бани, возле навозной кучи металась черная тень. Можно было подойти ближе и удостовериться, но мать Мелитина побоялась вспугнуть человека, делающего в своей жизни первый шаг. Вспугни – упадет и больше не встанет.

– Возлюби его, Господи, – попросила она. – Меня ослепи – ему глаза открой.

И только сказала так – ослепла на миг, качнулась, ища руками опоры. Почудилось ей, будто в это время высоко над головой всхлопнули легкие птичьи крылышки и унеслись в бездонное небо. Когда же прозрела она, то увидела, как черный человек бежит прочь с огорода, и сквозь шорох подошв и хруст ледка услышала неумелый, сдавленный плач.

– Благодарю Тебя, Всемилостивый! – трижды до земли поклонилась мать Мелитина, засмеялась и пошла в дом, словно там свадьбу играли, а не мертвец лежал.

Она попроведала Прошку Греха – тот спал в горнице, на хозяйской перине, – и встала трудиться. Бородатый странник лежал в своем углу, свернувшись в клубок, однако стоило матери Мелитине произнести слово из Псалтири, как тотчас же он встрепенулся и больше не смыкал глаз. Иногда лицо его становилось задумчивым, будто он мучительно силился что-то вспомнить, но никак не мог, и тогда он мрачнел и словно бы отрешался от всего, пока неведомая, терзавшая его мысль вновь не подкатывала, как ночная изжога.

К рассвету мать Мелитина закончила отпевание, помолилась на хозяйские иконы и хотела уж было Прошку будить да идти своей дорогой, но тут приблизился к ней странник, разлепил ссохшиеся губы и попросил смиренно:

– Отпой и меня, матушка.

– Да как же отпою, коль ты живой еще? – спросила мать Мелитина.

– А живых не отпевают? – Лицо его стало жалобным и несчастным.

– Неужто ты не знаешь, батюшка?

– Не знаю, – задумчиво проронил он. – Не помню...

Она бы и еще поговорила с ним, может, и о сыне бы расспросила, однако тут подружки хозяйкины увели ее завтракать в соседний дом. А там затараторили, заголосили и в ноги повалились:

– Матушка! Горе нам, горе! Внуки некрещеными остаются, как басурмане живут. Не откажи, окрести внучат-то! Уж мы тебе и мануфактуры на новую рясу дадим – эта вон как поизносилась! – и ботинки новые справим. И тятеньке твоему справим... Не откажи!

Прошка послушал-послушал старушечий ор и велел крестить ребятишек.

– Чего, чего ломаешься? – напирал он. – Раз ботинки сулят – трудись. А то в чем я к Боженьке пойду? Боженька далеко, не одну пару износишь!

Бородатый странник, пришедший за матерью Мелитиной, тоже был усажен за стол и теперь позыркивал на нее с каким-то недовольством и угрюмостью. Старухи же внуков и внучек своих на руки к ней пихают, просить заставляют. Дети спросонья и не поймут ничего: кто заревел, кто глазенки припухшие вытаращил, кто засмеялся от щекотки. Заныло сердце у матери Мелитины. Да укрепились она и послала бабок добыть купель у Никодима – тайно вынести ее с бывшего архиерейского двора. Пока отдыхала она, купель добыли и ребятишек со всей округи собрали. Хорошо, дом большой, с зимником и повестью, – все кое-как уместились. Говорят шепотом, с оглядкой, а у ворот старушку поставили, приглядывать, кто по улице идет. Бабки, деды и матери наказывают ребятишкам:

– Смотри, где был – не сказывай. И что крестили тебя – молчи. Не то в ГПУ заберут и в монастырь посадят.

Построила мать Мелитина притихших детей на повети в хоровод, вместо мирры – ладаном помазала и повела к купели, затем – на крестный ход.

– Господу Христу молитесь, Господу Христу молитесь...

И только закончила обряд да проводила новокрещенных с миром, как бородатый странник, молча взиравший на действие, вдруг склонил голову перед матерью Мелитиной, словно виноватый ребенок, и тихо попросил:

– Окрести и меня, матушка. Отпеваешь ты хорошо, а крестишь еще лучше.

– Неужто ты не крещен? – удивилась она.

– Не помню я...

– Родители-то у тебя есть? – вглядываясь в лицо странника, спросила мать Мелитина. – Помнишь родителей-то?

Что-то знакомое было в этом лице, но дремучая русая борода прятала подлинный образ, к тому же гримасы страдания исказили нормальное выражение – похоже, человека мучила глубокая внутренняя боль.

– Если я есть, то и родители были, – молвил он. – Не знаю. Памяти нисколько не осталось. Кто я?

– Имя-то свое помнишь? – с надеждой спросила мать Мелитина.

– Не помню. – Он горестно помотал головой. – И фамилии не помню. Меня хоть как называй... Я даже в ГПУ не мог вспомнить. Там всяко со мной пробовали – так и не пришло на ум. Поддержали да отпустили. – Он сглотнул накопившуюся слюну и добавил сокрушенно: – Я и Бога забыл!..

Мать Мелитина перекрестилась. Странник сунул руку под одежину и достал узелок, развязал.

– Вот что осталось. – Он показал облупленную матрешку. – Я сначала думал – это Бог. Откроешь одну – там другая, в другой – третья. Как Господь... Надо мной смеяться стали, икону показали, и я Бога вспомнил! А крещен ли – не помню... И кто дал матрешку – тоже не помню.

– Что же с тобой случилось, батюшка? – пугаясь его глаз, спросила мать Мелитина. – Откуда ты пришел?

– Не знаю, – признался странник. – Откуда, зачем – ничего не помню. Но бывает, просветлится ум и как во сне вижу – люди кругом больные, много людей. А бывает, что они все безумные, и я заразиться боюсь. Слово такое помню – эпидемия. Как люди заразные – эпидемия. Животные – эпизоотия. А зачем, к чему эти слова – не помню. И откуда слышал их – не помню.

– Может, ты болел? – с состраданием спросила мать Мелитина. – Может, голова болела, потому и забылся?

– В ГПУ тоже спрашивали. – Взгляд его остановился на четках, что были в руках у матери Мелитины. – Но я вроде сам никогда не болел. Сразу откуда-то такой взялся: руки вот эти, ноги и борода... Я в лесу опомнился. Лежу на земле, руки в крови... Меня здесь убогим называют. – Он дотянулся до четок и боязливо тронул костяшки. – А когда в ГПУ стали бить по голове, я вспомнил еще, что... будто ребенка убил.

Мать Мелитина прикрыла ладонью рот, прочитала про себя молитву.

– Что ты говоришь-то?!

– Да, убил. – Он сделал страшные глаза. – Мальчика, парнишку. Я им признался, а они не поверили.

И она бы не поверила, но сердцем чувствовала, что это правда. Странник не походил на умалишенного. Скорее, он напрочь лишился памяти. Когда он говорил, в глазах его, в прикрытом бородой лице светилась детская непорочность. Но гримасы боли стирали ее, превращая довольно еще молодого человека в глубокого старика. В этой детскости угадывалось что-то знакомое, близкое.

– Крести меня, матушка! – Он взял ее за холодные руки. – Я вспомнил Бога! Все забыл, а Бога помню! Христос имя ему. И молитвы помню... «Отче наш, иже еси на небесех...»

– Не знаю, что и делать, – растерялась она. – Смutil ты меня, и совета спросить не у кого... Если молитву помнишь – значит, крещеный.

– Но ведь у меня имени нет! – едва не заплакал он. – Убогий я, матушка, но имя-то должно мне быть! Чувствую же – никто я. Никто. Будто нет меня вовсе! А окрестишь, так я, может, в память вернусь. Гляди вот: одну матрешку откроешь – в ней еще одна, а в той – еще. А во мне – ничего нет! Страшно... Крести! Крещение – начало, отпевание – конец. Что же меня – ни крестить, ни отпеть даже нельзя?!

«Висельницу я отпела, – холодея душой, подумала она. – Крестить убогого – велик ли грех? И его приму, и отвечу на Суде? Как же мне иначе-то поступить, Господи?!»

Окатали она убогого странника водой из купели, прочитала молитву, провела крестным ходом по повети.

– Господу Христу молитесь, Господу Христу молитесь...

Надела ему на шею самодельный медный крестик и вновь отметила знакомые черты.

– Ежели не грех совершила, то отныне ангел-хранитель тебе даден. А я тебе крестная мать.

Странник засмеялся, разглядывая крестик:

– Мать – слово знакомое, сладкое, а откуда знаю – не помню. Небо на мою голову обвалилось. И ангела моего убило...

Ей казалось, что он все еще смеется, по-детски счастливо и безмятежно, а он уже плакал и давился слезами.

* * *

Арестовали ее в Страстной четверг, поздно вечером, и привезли в бывший архиерейский дом. Впервые за долгие годы мать Мелитина снова перешагнула его порог.

До четверга же ее водили из конца в конец города, из дома в дом, крестить да отпевать. Знала она: запрещено это властью, но выше запрета был святой долг, принятый вместе с иноческим саном. Выследили ее, а может, кто и указал, в каком дворе монахиня ночует, приехали на коляске и говорят: отправляйся, мол, с нами, божья невеста, и тебе черед настал во грехах покаяться. Подсадили Прошку, отняли котомки у обоих и повезли.

Ввели ее в дом и сразу же закрыли в комнате, где у владыки церковная казна одно время хранилась. Прошку Греха разрешили возле себя держать.

Утром, только взошло солнце, мать Мелитина увидела через окно Никодима. Он выворачивал бревно из старого заплота, вдоль которого теперь тянулся новый, высокий забор. Выворачивал и озирался на окна дома. Вчера, когда ее привезли в бывший архиерейский двор, Никодим вышел, чтобы распрячь коляску, и наверняка заметил мать Мелитину на крыльце.

Прислонившись к стене у окна, она смотрела на улицу. Никодим, улучив минуту, с бревнышком на плече подошел и стал маячить через стекло. Она не понимала, отрицательно мотала головой. Никодим же, озираясь, снова подавал какие-то знаки, но мать Мелитина, так и не поняв, перекрестила его сквозь решетку и махнула рукой – иди, иди...

Около десяти часов за матерью Мелитиной пришли. Следователь привел ее на второй этаж в угловую комнату, где была гостевая спальня и где она сама много раз ночевала. Все было знакомо и незнакомо одновременно: стены те же, дух другой... Накурено после ночной работы. Какая-то баба, похоже, арестованная, домывала полы и делала это по-домашнему, аккуратно, с любовью.

Следователь усадил мать Мелитину на табурет, сам прошелся за ее спиной, поскрипывая сапогами, закурил. Она почувствовала, что следователь чем-то очень доволен, как бывает доволен человек по утрам, когда он хорошо выспался, вовремя и вкусно позавтракал и вот пришел на любимую работу; и в предвкушении своего приятного дела ходит и соображает, как бы лучше и красивее его сделать. Вот и покойный Николай никогда сразу не бежал на конюшню, даже если конюх с утра уже доложил, что кобыла ожеребилась и жеребенок соловой масти, вернее – пока рыжий, но по приметам будет соловый; вначале он ходил по двору, щурился на солнце, дышал полной грудью, брался поправлять клумбы – одним словом, всячески оттягивал приятный момент, приводя в равновесие разум и чувства, и лишь после этого входил в маточник. И там, без страсти и жадности, с крестьянским суеверием, глядел на жеребенка, трогал его боязливую спину, шею, плевал, чтоб не сглазить, чтоб и правда удался соловой мастью – маркой конезавода.

– Для начала скажите мне, – следователь затянулся, выпустил дым в потолок, – как вас лучше называть? Каким именем?

– Кого ты видишь перед собой, так и называй, – предложила мать Мелитина.

– Поскольку я человек неверующий, то матушкой звать вас не стану, – заключил следователь и сел наконец-таки за стол. – Итак, гражданка Березина, Любовь Прокопьевна?

– В миру – да.

– Знаете, меня очень интересует такое состояние человека, – признался он. – Будто бы две жизни... Да... То есть всегда имеется возможность закончить одну, мирскую, и начать некую новую, особенную, при этом оставаясь... по крайней мере натурально!.. оставаясь тем же человеком. Человеком, служащим только идее.

– Богу, – поправила его мать Мелитина. – И людям.

– С точки зрения материализма – идее, – не согласился следователь. – Любопытно... Причем всегда остается возможность вернуться к мирской жизни. Например, расстричься...

– Но это будет уже третья жизнь, – сказала мать Мелитина. – У расстриги жизнь всегда была особая. Его не принимал мир, но и обитель не владела его душой.

– Тем более! – восхитился он. – Три состояния за одну жизнь. Если хорошо подумать, можно найти и четвертое, пятое...

– Нельзя, – перебила его мать Мелитина. – Всего три. Больше не придумаешь. В этом и состоит триединство мира.

– Так просто?

– Если ты материалист, то для тебя все труднее. – Мать Мелитина достала четки, пробежала пальцами, словно проверяя, на месте ли бусины. – Ты видишь в человеке два проявления – то, что пустым глазом заметишь: разум да тело. А третьего и признавать не желаешь.

Следователь заскрипел стулом, и мать Мелитина узнала этот стул – из гостиной. Только расшатался он, постарел, и обшивка стала как платье на нищем.

– И мир для тебя весь держится только на двух проявлениях. Ведь с таким умом где же слово-то Божье услышать?

– В каких же проявлениях мы понимаем мир? – спросил следователь.

– В жизни и смерти. То, что видно глазу и доступно животному чувству.

– А третье, надо понимать, дух?

– Третье – жизнь духа, – поправила она. – То, что соединяет жизнь и смерть.

Он встал, прошелся взад-вперед перед столом, глядя себе под ноги. Мать Мелитина почувствовала, что его удовлетворенность собой начинает постепенно исчезать, но было еще не совсем понятно, что приходило на смену.

– Почему вы говорите мне «ты»? – вдруг спросил он.

– Да мы ведь и Господу говорим «ты», – сказала простодушно мать Мелитина. – В детстве-то хоть молился ли? Помнишь?

– Это не важно, – стараясь быть мягким, заявил следователь.

– Как же не важно, батюшка? – подивилась она. – К старости-то все равно в церкву вернешься. А там спросят: когда на исповеди был да причащался? Ты уж не забывай, помни – когда. Душа-то ведь не вытерпит, покаяния попросит.

Следователь ходил у стола как заведенный, и ей подумалось, что он хоть и образованный человек, но никогда не сможет мыслить глубоко, поскольку совершенно не владеет состоянием покоя. Двигаться и метаться следом за своей мыслью – дело для мысли гиблое.

– Неужели и о моей душе вы позаботитесь? – с усмешкой спросил он.

– Мне доля такая выпала, – смиренно проговорила мать Мелитина. – И о твоей душе помолюсь, да в первую голову. Легко ли ей, когда ты пошел людей пытать да мучить? Тебе и не ведомо, как страдает твоя душа.

– Благодарю вас, – сказал он холодно. – Вернемся к нашей беседе... Допустим, триединство. Но как вы докажете существование третьего? Я материалист, мне нужны не чувства, а доказательства. Хотя бы из природы.

– Сколько угодно, батюшка, – благосклонно сказала она. – Неужто сам не видишь? Есть земля, есть воздух над ней, и есть небо... по-вашему, космос. А дерево взять, так у него корни в земле, ствол в воздухе, крона же в небе. И любое вещество только в трех состояниях – твердое, жидкое и газообразное. И у человека же – да ты ведь испытывал! – мысль, чувство и третье – гармония их, согласие. Мы называем это благодатью, блаженством.

Она медленно перебирала четки, замечая, как следователь неотрывно следит за ее руками.

– Какое же у вас образование? – вдруг поинтересовался он. – Вы же дочь крестьянина.

– Монастырь – мое образование, – спокойно сказала мать Мелитина. – А когда в ссылке была, так с учеными людьми восемь лет беседовала. Приятные были беседы, как у нас с тобой. Только там-то с профессорами, а они не нам чета. Один был профессор естествознания, другой – богословия... Туруханское образование, батюшка.

Следователь помотал головой, похмыкал, и в голосе его послышалось легкое раздражение.

– Так вы считаете, что мы, материалисты, стоим на неверном пути?

– На порочном пути, – поправила она. – Только не для вас порочный он, не для ваших апостолов. Вы-то новый путь придумаете, коль на этом заблудитесь. А вот люди за вами будут кидаться, будто скотина за пастырями. От вас народу порок.

– Вот даже как! – несколько деланно изумился он. – Почему же?

– Вы обманываете их. Что сами заблуждаетесь – полбеда... Более того, вы все чаще лжете, будто в мире есть только жизнь, и ничего больше. И помалкиваете о смерти. Или гово-

рите о ней вскользь, как о чем-то неприятном, необязательном, хотя она закономерна. Вы подадите человеку мир плоским, состоящим только из жизни, причем не сегодняшней, а светлого будущего. Вы вводите его в искушение жить иллюзией. Если бы было так! – Она поняла еще и то, что следователь – самоуверенный человек и обид не прощает. – Но ложь раскрывается мгновенно, как только человек ступит на порог смерти. Вы стали проигрывать со смертью каждого человека и тогда придумали некое бессмертие. Но только для избранных – не для всех. Вы начали ставить идолов и поклоняться им, вы переименовываете города и улицы даже при жизни. И все лишь ради одного – увековечиться. Вам не хочется умирать вместе со смертью, природа берет свое...

Следователь долго ходил в задумчивости, и матери Мелитине на какой-то миг показалось, что он понимает и даже разделяет ее убеждения. Наверное, душа его требовала, просила не только земной жизни, но хотя бы обещания другой, непонятной пока и не познанной. Ей, душе, не хотелось умирать вместе с телом; она была мудрее ума... Но ум воспротивился. Между глаз прорезалась складка.

– Вы можете убрать эти четки? – раздраженно спросил он.

– Уберу, если перестанешь ходить взад-вперед, – дерзковато ответила мать Мелитина и вызвала тем еще больший гнев.

– В этом кабинете диктую я! – не сдержался он. И минутой позже пожалел, попытался перевести разговор на другое: – Мне не приходилось отбивать ссылку с профессорами... Да. В тюрьме я сидел с уголовниками! И сейчас приходится заниматься ими же! – Обида звучала в его голосе, и он не мог справиться с нею. – Но мы отвлеклись... Вы умная женщина и понимаете, что зря к нам не попадают... Послушайте! – Он досадливо поморщился и сел. – Мне доложили, что вы покорная... кроткая женщина. А ведете себя...

– Я покорна лишь Божьей воле, но не твоей, – смиренно сказала мать Мелитина.

– Ведете себя... не по-монашески, – нашелся он, продолжая свою мысль.

– Я сижу не в монастыре, и ты – не игуменья.

– В каком же таком вы сейчас образе? – язвительно спросил он. – В какой из трех ваших ипостасей?

– Православная христианка, принявшая иноческий сан, – спокойно ответила мать Мелитина. – И вынужденная защищать свою истинную веру от вашей сектантской ложной веры. Ты забыл: я – не послушница, я – монахиня.

– Представьте себе, гражданка Березина, у меня было другое представление о монашестве, – не скрывая раздражения, проговорил он.

– Такое же, как о мире? – немедленно спросила мать Мелитина.

Все-таки, наверное, в юности следователь получил какое-то воспитание. Был скорее всего сыном выслужившегося до дворянства человека на штатской службе, но рано порвавший с трудолюбивыми родителями. Он не мог орать и топтать ногами, как комендант в Туруханске. Он хотел служить в учреждении и выделяться среди других только умом. И еще, как и его родитель, он хотел дворянства у новой власти.

– Простите, я не буду вести вашего дела, – холодно сказал он. – Мне очень жаль. Вы интересный собеседник, но это не мой профиль.

Встал, захлопнул тоненькую папку и вышел. И сразу же после него в кабинет вошла женщина, смерила узницу оценивающим взглядом, бросила коротко:

– Пошли за мной!

Женщина привела ее в комнату, где жили Сашенька и Андрюша, когда учились в есаульской гимназии. Теперь здесь стоял обшарпанный стол, шкаф, набитый бумагами, а на полу были свалены узлы с тряпьем.

– Раздевайся! – приказала женщина и закурила папиросу.

– Зачем? Нельзя мне раздеваться, голубушка. – Мать Мелитина просительно сложила руки. – Уважь мой чин, девонька, не бери грех на душу.

– Я тебя сейчас уважу! – басом сказала женщина. – Скидывай балахон! Обыск!

– На все воля Божья. – Мать Мелитина осенила себя крестом и стала раздеваться.

– Не Божья, а моя, – буркнула женщина. – Чтоб в чем мама родила!

– Нет твоей воли ни в чем, – сказала ей мать Мелитина. – Ты и в себе-то не вольна. Эко тебя зло корежит. А домой придешь, плачешь, поди, в подушку. Белугой ведь ревешь, не так ли?

– Заткнула б варежку-то! – огрызнулась та.

– Ой, доченька, да так ли родители учили тебя с людьми разговаривать! – загоревала мать Мелитина. – Они ж от стыда в гробу перевернутся.

– Чего это ты моих родителей хоронишь? – возмутилась женщина.

– Так им помереть-то в радость бы, чем терпеть эдакую дочь...

– Еще слово – и я тебя отмутызгаю! – пригрозила женщина. – По твоей постной роже.

– Не посмеешь, – уверенно сказала мать Мелитина. – Потому что я правду говорю. А ты, голубушка, дурь на себя нагнала, но душа болит и совесть мучает. Стыдно тебе, вот ты и прикрываешь стыд свой лохмотьями этими.

Лицо женщины отяжелело, проступила одутловатость щек и подбородка. Она обыскивала одежду, прощупывала швы, шарила под подкладом и посверкивала глазами. В тот момент мать Мелитина увидела свою котомку, вытряхнутую на пол, и все дорогое и сокровенное, что в ней находилось – крест, Евангелие и канонник, – все это валялось в непотребном и помятом виде. Она наклонилась, подняла свои символы веры, прижала к груди.

– Не ты ли посмела бросить, голубушка? – со страхом спросила мать Мелитина.

– Я! – с вызовом ответила женщина. – И видишь – руки не отсохли.

Она швырнула рясу в угол, в тряпье, а матери Мелитине кинула старые брюки и гимнастерку. Встала, подбоченилась:

– Напяливай!

Мать Мелитина не шевельнулась.

– Верни рясу.

– Хватит, пофорсила, – огрызнулась женщина. – Одевай, что дали!

Мать Мелитина опустила на колени, подняла над головой крест, взмолилась:

– Господи! Нагая стою перед Тобой, аки на Суде страшном! Взываю к Тебе, Господи! Освободи душу женщины! Дай вздохнуть ей чистым воздухом, дай глянуть светлым глазом. Отними слепоту и глухоту ее! Изъязви тело мое, да очисти лик женщины этой. Радости дай и утешение в горе ее! Очаруй душу ее и прими недостойную молитву мою, ибо некому более молиться за нее!

– Ты чего? – шепотом спросила женщина, пытаясь поднять с колен мать Мелитину. – Ну-ка, перестань... Ты чего?

– Боже многомилостивый! Како ты возлюбил меня, возлюби ж и ее! Муки и страдания, на нее павшие по воле Твоей, возложи на душу мою, человеколюбец! Сердце мое Тебе отверсто: зри ж нужду мою и утоли жажду, о которой я и просить не умею. На святую волю Твою уповаю, Владыко, в бесстыдном образе стою пред Тобой и молю: обнови в ней зраки образа Твоего! Меня оставь, порази и низложи – ее исцели и подыми!

– Ненормальная, чокнутая... – забормотала женщина, пятясь к двери. – Блаженная какая-то...

Она вышла из комнаты, тихо притворив дверь. Мать Мелитина тяжело встала с колен и стала одеваться. Ее качало, словно после страдной работы. Застегивая черный плат, она уколола булавкой подбородок, и выступила кровь.

– Благодарю Тя, Господи, – радостно прошептала мать Мелитина.

И увидела на стене, возле которой когда-то стояла кровать, почти забеленные известью детские каракули, оставленные Сашенькиной рукой.

Ей так не хотелось уходить из этой комнаты, однако скоро пришел молодцеватый паренек в гимнастерке и отвел ее в бывший кабинет владыки Даниила. Здесь все осталось по-прежнему: мебель, портьеры и даже ковер на полу, правда, подвышарканный у входа. Разве что книги в шкафах были другие. Мать Мелитина и раньше всегда с легким трепетом входила к владычеству деверю; и теперь, переступая порог, ощутила то же самое.

Но за огромным письменным столом восседал иной человек – начальник ГПУ товарищ Марон. Она сразу заметила, что начальник болен и мается какими-то внутренними, скрытыми хворями, и еще заметила, что он маленького роста и ноги не достают пола, поэтому возле кресла стоит деревянная подставка.

Марон велел сесть, а сам погрузился в чтение бумаг, небрежно перекидывая подшитые в папку листы. Овчинная безрукавка, надетая поверх строгого кителя, торчала над его согнутой тонкой шеей и, грубоватая, негнущаяся, напоминала черепаший панцирь.

– Итак, гражданка Березина, – начал Марон, – позабавила моих сотрудников, теперь ближе к делу. Расскажи, как ходила по селам и агитировала против колхозов. И кто тебя послал агитацию проводить. Мы все знаем о тебе.

– Господь с тобой, батюшка! – всплеснула руками мать Мелитина.

– Мой Господь со мной, – заверил начальник. – А вот какой бог или черт послал тебя коллективизацию порочить и колхозы разваливать – отвечай!

– Ничего я не порочила и не разваливала, – был ответ.

– Отказываешься?

– Вот тебе крест.

– Хорошо, – он усмехнулся, – пока оставим. Клятвы твои проверим.

– Перед властью безгрешна, – спокойно сказала мать Мелитина. – Тебя обманываю – значит, и Бога обманываю.

Марон соскочил с кресла, подошел к двери и кого-то кликнул, приказал:

– Заводи!

Через минуту в кабинет вошла баба, одетая по-крестьянски, с тяжелыми красными ладонями, за ней сотрудник с лихо закрученными усами. Баба вперилась в мать Мелитину, приоткрыла рот.

– Узнаешь? – спросил Марон.

– Чего же там... Конечно, узнаю, – подтвердила баба. – Она самая и есть.

– Значит, вот эта гражданка ходила по селам и агитировала? – уточнил Марон.

– Агитировала, – согласилась баба. – Паразитка...

– Окстись, голубушка, – слабо воспротивилась мать Мелитина. – Напраслину возводишь, грех на душу берешь.

– Что она говорила? Как агитировала? – напирал начальник.

– А так и агитировала, – сказала баба. – С Христовым именем шла, а сама, змеюка, шипела: уходите из колхозов, беда будет, большевики вас голодом поморить хотят. Пожнете хлеб, а его капиталистам продадут, чтоб машины купить и своих крашенных сучек катать. Известное дело...

Мать Мелитина сидела ни жива ни мертва. Бабу увели.

– И сейчас запираешься будешь? – спросил Марон.

– Греховное дело вы задумали, – медленно произнесла мать Мелитина.

– Ты, бабка, нас не пугай! – заметил усатый сотрудник. – Пуганые мы!

– А как ты это объяснишь, божья невеста? – Марон положил перед матерью Мелитиной грязноватый клочок бумаги. – У твоего отца нашли при обыске.

Она поглядела на непонятный рисунок, сделанный химическим карандашом, смутилась:
– Тятенька мой – старый человек... В детство впадает, умом слаб...
– Зато ты умом крепка! – вставил усатый. – Палец в рот не клади!
– Что здесь нарисовано – знаешь? – спросил Марон.
– Не знаю, – пожала плечами мать Мелитина. – Я видела эту бумажку еще в Туруханске...
– Это план Кремля, – пояснил Марон. – Со всеми воротами и правительственными зданиями. И с кабинетом вождя!

Мать Мелитина еще больше смутилась, бессильно опустила голову, сказала, глядя в пол:
– Говорю же, умом слаб... Тятенька все к Боженьке собирался. А ему кто-то в Туруханске и нарисовал, где Боженька живет.

Марон и усатый переглянулись.

– Да что с ней возиться, товарищ Марон?! – возмутился усатый. – У нее на все отговорка есть. А заговор и покушение на вождя – вот они, налицо!

– Отвечать придется перед советским народом, – заявил Марон. – И понести суровую кару.

– На все воля Божья, – смиренно ответила мать Мелитина.

– Да нет, не на Божью ты волю полагаешься, гражданка Березина, – хитровато сощурился начальник. – Надеешься, сын заступится?

Екнуло сердце: значит, жив Андрей?! Жив! Тогда и муки не страшны. Видно, Марону что-то известно о сыне. Спросить бы, да как кланяться извергу? Даже виду подать нельзя, как болит душа материнская.

– На Господа я надеюсь, – проронила она. – На Его волю уповаю.

– Ты хоть знаешь, где твой сын теперь? – неожиданно спросил Марон. – Слыхала?

Мать Мелитина внутренне насторожилась: показалось, будто проверяют ее, выпытывают об Андрее. Только бы не навредить ему!

– Не слыхала и слышать не желаю, – уверенно сказала мать Мелитина. – У него свой путь, у меня свой – Богу служить.

– А сын твой нам служит, – засмеялся Марон и махнул короткой рукой. – И служить будет!

Усатый взял ее за рукав, потянул к двери:

– Пойдем, бабка! Мы с тобой сговоримся, побеседуем по-свойски. Я тоже вроде святого отца, так найдем общий язык. Пошли!

Они спустились во двор, и мать Мелитина зажмурилась от яркого солнца. «Господи, – подумала она, – свету-то сколько на земле! Весна какая ясная нынче. Теперь я укрепились, теперь жить буду. Жив мой Андрейка!»

Усатый ввел ее в отгороженную часть двора, отомкнул дверь в погреб, а сам встал в сторонке.

– Заходи, бабка! Да живо, а то весь аромат выпустишь!

Мать Мелитина открыла дверь, шагнула на первую ступень и задохнулась от зловония. Перекрестилась и пошла вниз по осклизлым ступеням. «Вот они, муки адовы, – подумала она. – И за это благодарю Тебя, Господи!»

– Хороший погребок был, – сказал сверху усатый. – Да испортился, из выгребной ямы туда утекло. Потерпи, сейчас дедка твоего приведу, чтоб не скучно было!

Дверь захлопнулась. В свете тусклой лампочки мать Мелитина увидела нары во всю ширь погреба. Под ними черно поблескивала вода. Кругом мерзость и плесень. Скоро тот же сотрудник привел Прошку Греха. Мать Мелитина приняла его, спустила по ступеням и усадила на нары.

– Крепись, тятенька, молитвы читай, – приговаривала она. – Переможем, и это переможем с тобой.

– Подумай посиди, – наказал усатый. – Вспомни, как агитацию вела, зачем в Москву собирались и кто посылал. Вспомнишь – стукни в дверь.

Лежать и сидеть на нарах было нельзя – холод медленно сковывал спину, стоять можно было лишь согнувшись, чтобы не упираться головой в загаженный свод. Самое разумное – на коленях...

Прошка Грех задышался, пучил глаза.

– Мы с тобой, дочка, в ад попали? В ад? – спросил он.

– Нет, тятенька, на земле мы, на грешной земле...

Он не понимал, твердил свое:

– Эко в аду-то как!.. А будто в погребу у свата. У владыки-то, помнишь? Я к нему за кагором лазил...

– Ты молчи, тятенька, а я говорить буду. – Она достала из котомки полотенце, смочила его святой водой, приложила к лицу отца. – Помнишь, как ты маленьким был? Помнишь?

– Не-а, не помню... – пробубнил Прошка.

– Ну вспомни, вспомни... – молила мать Мелитина. – Вспомни, родненький! Ты еще в Воронежской губернии жил, ну?

– Помню... – тихонько засмеялся Прошка Грех. – Помню!..

– А грозу помнишь? Туча черная, молнии яркие и ветер, ветер... Потом ливень, все кипит, пузырится и пыль оседает...

– Помню, – шептал он. – Мы босиком пляшем... Мама! Мамочка!

– Вот-вот, сынок, босиком! – счастливо рассмеялась она. – И я с тобой босиком! Побежали! Побежали, сыночек, ну? Не бойся, дай ручку! Ты только держись крепче!..

И они побежали. Туча сваливалась к горизонту, ливень еще хлестал – светлый, частый, и гром ворчал над головой, но уже высвободилось из черноты солнце и косые лучи его прошли пространство, озаряя влажную чистую землю. Они бежали под слепым дождем и смеялись; они были мокрыми до нитки, и белые волосенки сыночка прилипли ко лбу, а у матери отяжелевшие косы тянули голову назад. Но от этого бежать было легче и смеяться вольней, прямо в небо. Под босыми ногами сверкала вода, земля была теплая, грязь чистая, и воздух, смешавшись с дождем и солнцем, заискрился, задрожал, а потом и вовсе превратился в радугу. Сыночек вырвался и взбежал по ней вверх, засмеялся – не догонишь! – но мать успела схватить его и ссадить на землю. Он же никак не унимался; он бежал, шлепая по лужам, и махал ручонкой, разбивая цветы радуги. Они клубились, как дым, смешивались, и ненадолго возникало вращение света, а попросту – брешь. Однако не так легко было порвать радугу: она не висела на месте. Все семь цветов ее брали начало из земли, возносились высоко в небо и снова уходили в землю. Она текла, струилась, как ручей, неиссякаемый до тех пор, пока есть вода, земля и небо. Они бежали и смеялись...

Но вот раздался грохот резко распахнутой двери.

Мать выпустила из своей руки ладошку сына, крикнула: «Беги один, сынок! Я сейчас!» И он побежал, радуясь воле и полной свободе...

– Вы чего смеетесь? – подозрительно спросил усатый сотрудник, сунувшись в дверной проем. – Ну-ка вылазь!

Мать Мелитина взяла отца на руки и поднялась по ступеням вверх. Было утро, канун Пасхи.

Усатый глядел недоверчиво, с таким видом, будто хотел пощупать узников руками. Пытался распознать, в своем ли они уме или же помешались, поскольку в погребу редко кто выдерживал больше трех часов.

– Чего? Подумала? Вспомнила? – спросил он.

– Я не виновата, сынок, – сказала мать Мелитина. – А грешна только перед Всевышним!

Он взбесился и в первый момент не мог найти слов. Прошка Грех ковылял по двору на полусогнутых ногах, махал руками и смеялся.

– Я же тебя все равно посажу! – закричал усатый. – Доказательств – во! – резанул ребром ладони по своему горлу. – Лучше признайся и подпиши! Все равно посажу!

– За что же посадишь-то, милый? Нет вины, нет!

– Да я тебя... за веру посажу!

– За веру? – изумилась она и вдруг упала перед ним на колени. – За веру?! За веру, сынок, сади! За веру сколько хочешь сидеть буду! Хоть здесь, в погребке! Хоть в землю закопай за веру! Сделай милость – подпишу, признаюсь! За веру!

Прошка Грех упал ничком, смеялся и шлепал руками по сухой земле...

4. В год 1920...

Возле двери своего номера Андрей на мгновение остановился, перевел дух. Из номера доносились приглушенный говор, чьи-то нервные шаги и скрип сапог. «Сбежались, ждете, сволочи!» – с ненавистью подумал он и, ногой растворив дверь, не глядя на собравшихся, прошел в свою комнату. За спиной возникла тишина. Андрей распахнул створки рамы, вдохнул полной грудью ласковый утренний ветер и содрал с себя ремни, затем, выворачивая рукава, стащил френч и швырнул его в угол.

В дверь осторожно постучали. Андрей стиснул зубы, сжал кулаки: нет, они не оставят в покое...

– Ну ты и переполох устроил, Андрей Николаич! – восхищенным шепотом проговорил Бутенин, притворив за собой дверь. – всю ночь искали! Тут как штаб... И товарищу Шиловскому доложили!

– Пошел вон! – сквозь зубы выдавил Андрей.

– Да ты что, Николаич? – засмеялся Бутенин. – Я им, дуракам, говорю: чего вы всполошились? Да он к девкам пошел! Приглянулась бабенка – он с ней где-нибудь и... А утром явится!

Бутенин поднял френч, расправил его и повесил на гвоздик, прибрал портупею и встал у окна, пытаясь заглянуть в лицо.

– Я им говорил: видно же было, как ты на баб пялился... А они... Понятное дело, после тюрьмы-то – ого! Да и жизнь какая кругом!

Андрей схватил Бутенина за грудки, притянул к себе. Тот, распираемый каким-то внутренним торжеством, не сопротивлялся и вис на руке, как мешок с тряпьем.

– Уйди, Тарас, – тихо попросил Андрей. – С глаз долой.

– Уйду, уйду, – торопливо забормотал Бутенин, счастливо сияя. – Слышь, Николаич? Раз ты пришел – теперь мне Тауринс пропуск в Кремль достанет! Посулил так! А раз посулил – он сделает! И я Ленина увижу! Вождя!

Андрей выпустил Бутенина, подтолкнул его в спину. Тарас механически пошагал к двери, но спохватился:

– Андрей Николаич! А из Красноярска телеграмма! Тебя поздравляют! И ждут!..

– Ради бога, иди! – взмолился Андрей. – Оставь меня. Видеть никого не хочу!

Когда Бутенин вышел, Андрей лег грудью на подоконник и прикрыл глаза.

Через несколько минут Тауринс распахнул дверь и, впустив Шиловского, застыл на пороге.

– Здравствуйте, Андрей Николаевич, – вежливо поздоровался Шиловский и подал руку. – Объясните мне, что с вами случилось? Где вы были?

– У вас в гостях, – сдержанно бросил Андрей, по-прежнему сцепив руки за спиной.

Шиловский несколько секунд подержал на весу свою ладонь, готовую для пожатия, затем осмотрел ее и сунул в карман.

– Вы, батенька, напрасно обижаетесь, – заметил он. – К сожалению, я был занят и не мог вас встретить. Неотложные дела.

– Я не обижаюсь, – отчеканил Андрей.

– В таком случае скажите: что с вами происходит? – потребовал Шиловский и, резко обернувшись к двери, приказал: – Выйдите, Тауринс!

Телохранитель равнодушно прикрыл за собой двери.

– Происходит то, что и должно происходить, – сказал Андрей. – Кончилась щенячья радость. И началось похмелье.

– Конкретнее, пожалуйста. – Шиловский сверкнул стеклами пенсне и затворил оконные створки, брякнув шпингалетом.

– Я сел не в свои сани, – спокойно объяснил Андрей. – И теперь хочу исправить ошибку. Прошу вас вернуть меня в Бутырскую тюрьму. Мандат я возвращаю.

Он достал из нагрудного кармана сложенную вчетверо бумагу и положил на тумбочку, к ремню. Затем расслабленно сел на кровать, откинулся к стене и забросил ногу на ногу.

– Ждете, когда я пришлю конвой? – спросил Шиловский и прошелся по комнате. – Так вот, не дожидаетесь, Андрей Николаевич. И не валяйте дурака.

– Я сказал все, что хотел, – отрезал Андрей.

Шиловский поставил табурет напротив него, тяжело сел, пощупал руками свои худые колени. Затем снял пенсне и покачал его на шнурке, словно маятник часов.

– Что ж, теперь скажу я. – Голос его подтвердел. – Не вы, а мы посадили вас и в Бутырки, и в сани, как вы изволили выразиться. И где вам сидеть – решать нам. И сколько сидеть – нам решать.

– А кто вы такие? Кто?! – вскрикнул Андрей, теряя самообладание. – Повелители мира? Боги?!

– Нет, Андрей Николаевич, – одними губами улыбнулся Шиловский. – Мы – профессиональные революционеры. Земные и плотские люди, но ради идеи способные на божественный подвиг, если хотите.

Усилием воли Андрей взял себя в руки, проговорил как можно бесцветнее и спокойнее:

– Вот и подвигайте. А мне с вами не по пути.

Шиловский усмехнулся – будто над словами неразумного ребенка, – добродушно похлопал Андрея по колену, однако лишь кончиками пальцев.

– По пути, по пути... У вас просто нет другого! Ну подумайте сами! Где он, этот другой путь? Реальный?

– Сейчас, может быть, и нет, – после паузы сказал Андрей. – Но будет.

– Не обольщайтесь, Андрей Николаевич, не будет, – заверил Шиловский. – Однажды вы сами сделали выбор. А потом – мы сделали его. Вы уж отдайте должное нашему чутью. Мы никого не выбираем напрасно или по случаю. Революция – не базар, не одесский Привоз, батенька. Я вас еще в «эшелоне смерти» присмотрел. Согласитесь, там можно было проверить цену человека. И я за вас поручился.

– Купили? – зло усмехнулся Андрей. – Присмотрели и выкупили? Из Бутырок?

– Ну что вы! – засмеялся Шиловский и вновь покачал пенсне, любуясь размеренными, четкими колебаниями. – Вы – человек не продажный.

Андрей встал, вновь заложил руки за спину, отошел в угол, к умывальнику, затем вернулся и навис над Шиловским, забавляющимся пенсне.

– Значит, ваша власть надо мной беспредельна?

– Практически – да, – подтвердил Шиловский. – Я отобрал вас у смерти и, считайте, вновь произвел на свет. Не смейтесь, но вы – творение моих рук и рук моих товарищей по борьбе. И только поэтому будете целиком под нашей властью. Не из благодарности за спасение и не из-за долга, нет. Эти чувства слишком ненадежны, чтобы уповать на них. Мы подняли вас из праха. В камере смертников вы были уже никто. Помните?.. Революция – слишком серьезное дело, чтобы полагаться на стихию. Настоящих борцов за великое дело следует строить, как зодчему, ваять их, как Бог ваял Адама. И потом – вдохнуть душу.

Андрей рассмеялся ему в лицо и, смеясь, бросился к окну, распахнул его настежь.

– Вы ошибаетесь! Вы умный человек, но наивный!

– Мне очень нравится ваша веселость! – тоже засмеялся Шиловский.

– Наивный, да! – подтвердил Андрей. – Все в вашей власти, кроме одного! И – самого главного!

– Я вас понял. – Шиловский встал и, улыбаясь, приблизился к Андрею. – Вы хотите сказать, что мы не властны над вашей смертью? Дескать, когда захочу, тогда и умру. Да? Вы это имели в виду?

Андрей молчал. Вымученная улыбка кривила рот, превращаясь в гримасу.

– Ах, Андрей Николаевич, – вздохнул Шиловский и постучал глазком пенсне по его груди. – Конечно, вы подумали о смерти... Но ведь вы не сможете умереть просто так, по желанию или от каприза. Нет, не сможете. У вас слишком большие претензии к жизни, причем не к своей собственной. Поэтому самоубийство для вас не выход из положения. Вы стремитесь понять, зачем живет человек, зачем существует в мире наш народ; вы очень хотите узнать, каков же будет исход величайшего в истории эксперимента. Вы не боитесь смерти, не ждете ее, а значит, живете без опаски и оглядки. А нам очень нужны люди, презирающие смерть. Да, с ними хлопотно, но зато они – надежные и решительные люди.

Можно было смеяться и отрицать все, что он говорит; можно было до конца твердить свою мысль: нет, над смертью ты не властен! – и тем самым как бы начертать вокруг себя обережный круг, но все сейчас показалось напрасным. Андрей вспомнил, как вытащил мертвого Шиловского из «эшелона смерти» и закопал его в землю. Вспомнил и вдруг понял, что и сам Шиловский принадлежит к людям, презирающим смерть, и потому, по сути, бессмертным. Значит, он говорит правду?! Сколько раз за свою жизнь Андрей пытался представить себе состояние смерти либо ее момент – и все лишь для того, чтобы напугать себя ею, чтобы возник страх, способный разбудить чувства: желание жить, любить женщину, детей, испытывать радость и жалость, счастье и сострадание. Он как бы тормозил себя, встряхивал видом чужой кончины, близостью и неизбежностью своей собственной, но даже в камере с нарисованным в углу распятием не боялся смерти. Холодный труп вызывал омерзение, кровь – тошноту, и не более.

А сколько раз он старался мысленно вернуть себе то состояние, когда в степи под Уфой скакал на коне перед полком и спиной чувствовал, как тот белоглазый боец выцеливает его, припав на колено! Возвращал – и начинал ощущать все, даже запах солоноватой пыли, даже слышал крик воронья над головой. Только страха не было перед черным винтовочным зрачком...

Он знал, где расстался с этим страхом – в «эшелоне смерти». Именно там появилось ощущение, будто над ним совершили какой-то таинственный обряд, подобный пострижению в иночество, и он теперь, оставаясь внешне таким же, на самом деле живет по другим меркам.

– Не печальтесь, батенька! – подбодрил Шиловский и приобнял Андрея. – Все пройдет, и вам станут смешны свои мысли. А сани – ваши, и вам они впору. Я ценю вас как человека и надеюсь оценить как мастера.

– Мастера? – Андрей отвернулся. – Заплечных дел мастера?

– Не усугубляйте, Андрей Николаевич, – миролюбиво заметил Шиловский. – И будьте снисходительнее к себе. Оставьте эту варварскую российскую привычку истязать себя. Изживите ее и запомните на будущее: каждый вынесенный вами приговор – это приговор от имени революции, а не от вас лично. Вы лишь карающая рука революции.

– Как вы сказали?

– Карающая рука революции. – Шиловский пожал плечами и сощурился. – Хотите спросить, кто ее голова?

– Вы очень проницательный человек, – вымолвил Андрей.

– Спасибо, – улыбнулся Шиловский. – Вы мне тоже нравитесь. А поэтому ровно в семь вечера я заеду за вами. Должен же я исправить свою оплошность и увидеть вас своим гостем. У нас очень мило, вам понравится.

Возле двери он остановился и, на мгновение задержав взгляд на лице Андрея, вернулся назад.

– Утешьте мое любопытство, Андрей Николаевич, – попросил он и развел руками. – Где вы были этой ночью?

– У женщины, – бросил Андрей.

– Я понимаю, что у женщины, но где? Простите за откровенность, мы подняли самых лучших сыщиков, но не нашли вас. Мне это польстило, честное слово. Уметь исчезнуть бесследно – первейшее качество профессионального революционера.

Он замер в ожидании, потерев козырек кожаной кепки.

– У случайной женщины, – неопределенно сказал Андрей. – Совсем случайной...

– Так я и думал! – засмеялся Шиловский и, расстегнув портфель, достал фуражку, расправил ее на руке, подтянул козырек. – Не теряйте больше. И не бегайте от патруля!

Андрей недоверчиво взял фуражку, оглядел, примерил – та самая, обмененная на кепку и потерянная сегодня утром на набережной.

– А знаете что? – заговорщически произнес Шиловский. – Вам следует жениться. Да-да! Необходимо жениться! Подумайте! – Он открыл дверь и уже от порога добавил: – Не обижайте Тауринса! Он славный парень! Прошу вас!

Несколько минут Андрей стоял в некотором оцепенении и крутил фуражку в руках. Она казалась ему сейчас свидетельством той незримой и неосознаваемой власти, подмявшей под себя отныне всю его жизнь. Шиловский наверняка хитрил, спрашивая, где он провел ночь. Знал, все знал! И даже слышал, а возможно, и видел, что происходило в его доме. А потом бежал за ним по набережной, стреляя на ходу, и фуражечку подобрал...

Ладно, пусть не своими глазами, но – видел.

А что, если Юлия? Что, если она умышленно оставила его в доме Шиловского и разыграла весь этот спектакль?!

Но ведь чудовищно, если так! Если и Юлия – ненастоящая!

А если так, если ему не чудится злой умысел, если и впрямь существует всевидящее око, то он и в самом деле находится теперь под его, Шиловского, беспредельной властью!

Он отказался завтракать и, не раздеваясь, лег. За стеной мирно разговаривали Бутенин с Тауринсом, гремели посудой, изредка доносился смех.

Неужели и Бутенин?.. Нет, невозможно!.. Но как быстро он смирился, как крепко сдружился с телохранителем и шпионом!

Андрей хотел заснуть, жмурил глаза, накрывал их руками, однако в напряженном мозгу стучало: безвольный, невольный, подневольный.

Он вскочил. Мелькнула мысль немедленно открыть окно, выбраться из номера и бежать, пока увлеченный разговором телохранитель ловит ворон. Дума о побеге грела несколько мгновений и тут же угасла без всякой надежды. Куда бежать? Вот ведь как: никто вроде и не держит, а не уйдешь. Некуда... ведь ты невольник...

«Я чувствую неволю, потому что сопротивляюсь ей! – осенило Андрея. – Иначе бы и не замечал...»

Нет, не может власть над ним быть беспредельной. Есть предел, наверняка есть. Надо только начертать обережный круг. И можно стать неподвластным...

Шиловский подъехал к гостинице около семи. Андрей ждал возле окна, однако сразу не вышел, а сел возле двери на табурет. «В семь так в семь, – решил он, усмехнувшись. – Раньше не побегу. Пускай и он подождет!» И это малое, пустячное проявление собственной воли наполняло его силой. Он, Шиловский, сидит там в машине и ждет! Наверняка специально приехал до времени, чтобы увидеть, как Андрей вылетит навстречу, а то и вовсе будет стоять у подъезда. И эти минуты Андрей заставит Шиловского ждать!

В комнату заглянул Тауринс в полной экипировке, вопросительно уставился на подопечного. Андрей молча показал ему часы. Тауринс понимающе улыбнулся и покачал головой.

Без двух минут семь Андрей надел фуражку и вышел из комнаты. Времени оставалось как раз на то, чтобы спуститься вниз, пересечь переднюю и пройти сквозь парадные двери. Ни секунды более. Однако едва он подошел к лестнице, как услышал грохот сапог по ступеням и мгновением позже увидел Бутенина. Всклопоченный, со сверкающими глазами, тот несся ему навстречу, раскинув руки для объятий. На миг почудилось, что он пьян. Преодолевая последний лестничный пролет, он столкнул с дороги красноармейца, сбегающего вниз, чуть только не кувырнув его через перила, отмахнулся от Тауринса и по-медвежьи, с жадностью и ревом облапил Андрея.

– Я... я Ленина видел, – едва вымолвил он.

– Поздравляю, – сказал Андрей и попытался освободиться из его объятий.

Однако Бутенин еще крепче сжал его, оторвал от земли и подбросил вверх.

– Видел! Как тебя видел!

На крик и шум из дверей номеров начали выглядывать краскомы, кто-то выбежал в коридор. Тискавая Андрея, Бутенин заорал:

– Люди-и! Я Вождя видел! Виде-е-е-ел!

– Отпусти! – крикнул ему Андрей, задыхаясь от резкой боли в боку. – Отпусти же!

Едва не захрустели ребра. Бутенин раскатисто, по-сумасшедшему, захохотал, мотая Андрея, как мешок. Люди сбегались на лестничную площадку, а Тауринс, чувствуя, что просто так подопечного не вырвать из объятий Тараса, выхватил маузер:

– Трепую немедленно отпустить!

Безумный и оглашенный, покрытый липковатым холодным потом, Бутенин ничего не слышал и вряд ли что понимал. Тауринс ткнул его стволом маузера в бок:

– Стрелять пуду! Пуду стрелять!

– Видел! – стонал Бутенин, и слезы катились по его щекам. – Живого видел!

И вдруг, выпустив Андрея, трясущимися руками стал рвать клапан кармана на груди. Андрей бросился на лестницу и побежал вниз.

– Вот! – кричал вслед ему Бутенин, потрясая бумажкой. – Он написал! Своей рукой!

Андрей прыгал через ступени; мысль, что он опоздал, заставил Шиловского ждать лишние минуты, кнутом гнала его по лестничным маршам старой аристократической гостиницы. Чувство какой-то рабской виноватости затмило разум и даже уняло боль в боку.

Лишь в парадном, запутавшись, забыв, в какую сторону открывать двери, он пришел к себе. И сразу ощутил, что трудно дышать и болят ребра... и что мгновение назад он пережил омерзительное чувство – преклонение перед чужой властью. Чего хитрить: именно поэтому и он, Березин, так рвался из объятий Бутенина, а потом сломя голову несся по лестнице. А ведь еще в номере, дожидаясь семи часов, он наслаждался своей волей, но вот прошла лишняя минута – и он уже готов голову себе разбить!

Так неужели страх перед чужой волей сильнее страха смерти?!

Переживая стыд и самоунижение, он вышел в двери, услужливо распахнутые Тауринсом, и остановился на крыльце. Шиловский встречал его возле автомобиля, спокойный и невозмутимый, хотя на улицу до сих пор доносились истошные возгласы Бутенина и шум толпы.

«Тарас хоть Ленина увидел, – про себя усмехнулся Андрей. – А я – что? Я-то – что?!»

Он поправил ремни портупеи, поддернул фуражку и спустился к автомобилю. Шиловский молча глянул на свои часы – видно, ждал! И открыл дверцу:

– Прошу, Андрей Николаевич.

В этой вежливости Березин уловил недовольство. Он сел в автомобиль и увидел рядом с шофером Юлию. Она была в красной косынке, веселая и независимая.

– Здравствуйте, – сказал Андрей, изучая ее лицо: сказала или нет своему дядюшке? Не понял, не определил...

– С моей племянницей вы знакомы, – деловито напомнил Шиловский. – Жаль, я не смог вчера приехать... Юлия, ты не обижала нашего Андрея Николаевича?

– Что ты, дядя! – засмеялась она. – Это ты его обидел – не приехал.

– Почему же он так рано ушел? – спросил Шиловский, глядя на Андрея с хитрецей. – Или молодые люди за время революции совсем разучились проводить время?

Андрея бросало то в жар, то в холод. «Знает? – с тревогой думал он и в ту же секунду радовался: – Не знает! Знает... Не знает...»

– Ушел потому, что ты, дядюшка, не дал пропуска Андрею Николаевичу, – выговорила Шиловскому племянница. – А поздно вечером уже патруль на улицах.

– Простите, Андрей Николаевич! – серьезно повiniлся Шиловский. – Да разве все упомнишь?... Все исправим, а вы, Тауринс, сегодня свободны. Охранять буду я.

Ожидавший возле автомобиля Тауринс козырнул и меланхолично потащился в гостиницу.

– Не хмурьтесь, друг мой! – подбодрил Шиловский, усаживаясь удобнее. – Нам в ваши годы жилось тяжело, а что вам-то нынче хмуриться? Вы, батенька, вступили на путь счастливой жизни. Кстати, прошу обратить внимание: Юлия будет работать с вами. Да, делопроизводителем. У вас же будет канцелярия, писари, стенографисты. Одним словом, советский бюрократический аппарат. Вы уж не обижайте мою племянницу, Андрей Николаевич!

«Вот как? – про себя удивился Андрей, рассматривая Юлию. – Даже племянницы своей не пожалел для меня...»

– Ну, сегодня до делопроизводства еще далеко, – продолжал благодушно Шиловский. – Поэтому Юлия сейчас накормит нас хорошим ужином. Она великолепно готовит! Накормишь нас, Юлия?

– Конечно, дядя! – засмеялась она. – Я приготовлю щуку со свежей зеленью и чесноком. Андрей Николаевич, вы любите щуку с чесноком?

– Мне все равно, – проронил Андрей. – Спасибо.

Густым каштановым волосам Юлии было тесно под треугольничком косынки, и, выбившись, они рассыпались по плечам, по легкому летнему ситцу. Большие темно-карие глаза ее казались чуть печальными, но когда на лицо падал солнечный свет, они загорались и сами начинали светиться. Андрей попытался поймать взгляд Юлии, но она смотрела на шрам и не могла скрыть этого.

Автомобиль трясся по булыжным мостовым, погуживал сиреной на поворотах, и Андрей заметил, как прохожие провожают его глазами. Наверное, ехать по улицам на автомобиле считалось большой честью и вызывало зависть. В одном месте колесо попало в выбоину и так сильно трянуло, что у Андрея перехватило дыхание. Саднящая боль в боку, укачанная было поездкой, вновь напомнила о себе. Он постарался скрыть ее и отвернулся к окну.

– Ничего! Скоро вы свыкнетесь с новым состоянием, – балагурил Шиловский. – И увидите, что жизнь вокруг совсем другая. Пока вы еще мало что понимаете в революции. У вас вульгарные представления о ней. Да, батенька! Но когда вы почувствуете вкус к борьбе, когда борьба станет смыслом вашего существования – в вас родится революционер. Вы постигнете революцию!

Они остановились возле знакомого особняка. Шиловский на правах хозяина открывал калитку и двери перед гостем, сам взял фуражку из рук Андрея и повесил на вешалку, затем повел к себе в кабинет. Юлия сразу же отправилась на кухню, перед этим успев незаметно коснуться руки Андрея своей рукой.

– Мое семейство сейчас в загородном доме, – объяснил Шиловский. – А я здесь бываю редко, так что сам как гость. Очень много дел, батенька. Иной раз кажется, скакать по степи и махать шашечкой легче... Заезжаю только животных кормить, и то не каждый день...

Он на секунду задумался, и Андрею показалось, что Шиловский сейчас вспомнил свои часы и повешенного за них бойца по фамилии Крайнов. Может, потому, что взгляд хозяина застыл на мгновение на циферблате больших напольных часов, коронованных трубящими меднолитыми ангелами.

– Революция, Андрей Николаевич, это не то, что вы думаете, – будто продолжая разговор, начатый в автомобиле, сказал Шиловский. – Это не толпы вооруженного народа на улицах. И даже не взятие Бастилии или, допустим, Зимнего дворца. Это все – точки отсчета в революции, ее временные символы. Они, безусловно, важны для какого-то одного народа, но никак не имеют мирового, общечеловеческого значения. В России – октябрь, в Англии, к примеру, будет январь, в Америке вообще август. А что они для скандинава или перса? Будет ли для них святость в этих символах? Да нет, не будет. Название месяцев – и все. Ну, интеллигенция еще будет знать – народы нет. А мировая революция нуждается и в мировых символах, и в идеях мирового масштаба. Революция – это высшее искусство, Андрей Николаевич. Оно родственно военному искусству, но с одним условием: если убрать из него значение и деятельность генералов. Представляете?

Андрей мотнул головой: представить себе военное искусство без генералов было невозможно.

– Ничего, абстрактное мышление – форма приобретенного мышления, – успокоил Шиловский. – Бог даст, и вы приобретете... Дело в том, что сознание народных масс никогда не было и не может быть революционным. Оно может быть озабоченным, возмущенным. Наконец – бунтарским! Сознанием отдельных людей руководят страх, злоба, месть. А то и вовсе личная бесшабашность и ухарство. Особенно здесь, в России, у русского населения. Дело настоящего революционера – не будить в массах революционность, как сейчас это делают иные политики, и ни в коем случае не приобщать народы к высшей идее – ради их же пользы и спокойствия. Иначе мы поимеем вселенский хаос, а не мировую революцию. Дело мыслящего борца – разумно использовать те качества масс, которые рождены внутренними потребностями и имеются налицо. Поверьте, батенька! Если вы пойдете на базар и станете просить птичьего молока, вам не дадут. Над вами посмеются и в лучшем случае предложат коровьего или козьего. Птиц не доят, это вам известно. Птицы созданы, чтобы летать. А доят коров.

– Значит, в России вы сделали революцию, чтобы заключить мир и дать народу хлеб? – спросил Андрей. – Дать ему то, что он просил именно в этот момент?

– Все гораздо сложнее, Андрей Николаевич, – вздохнул Шиловский. – Да, мы заключили мир, но вскоре поимели войну. Мы обещали хлеб, но не дали его. Как видите, нет пока и свободы, и равенства, и братства. На дворе военный коммунизм.

– Но когда же все это будет? В светлом будущем? – Андрей вспомнил речи комиссара Шиловского перед полком, там, в степи под Уфой.

– Дорогой вы мой, – Шиловский дотронулся кончиками пальцев до его плеча, – поймите же вы наконец... Революции в России еще не было. А то, что видите вокруг, – это переворот. Не зря в народе так говорят. Переворот.

– Тогда я ничего не понимаю. – Андрей облокотился на свои колени, сторбился. – Ничего не понимаю... И чем дальше живу, тем больше теряюсь.

– Это только революционным матросам в Питере сразу все было понятно, – тихо рассмеялся Шиловский. – И замечательно, что вы в этом признаетесь. Я уже устал от тупых и самодовольных идиотов, которые уверовали, будто они революционеры и политики. Им и невдомек, что революция – это искусство...

– Не понимаю! – повторил Андрей и вскинул голову. – Зачем вы возитесь со мной? Зачем ревтрибунал? Эти ваши лекции... Зачем?

Шиловский отпил чаю, аккуратно поставил стакан и терпеливо выждал паузу. Спокойствие его было поразительным; оно говорило о великой убежденности этого человека. За

все время Андрей заметил у Шиловского всего лишь два состояния: деловитую строгость и несколько наигранную веселость. И еще Андрей убедился, что тот не мог откровенно смеяться, впрочем, наверное, и горевать от души тоже не мог.

– Зачем? – раздумчиво переспросил Шиловский. – Мы утром уже говорили об этом. Нам нужны такие люди, как вы.

– Простите, вероятно, я тоже идиот! – не сдержался Андрей. – Но зачем? Зачем?!

– Кто же станет делать революцию в России? – вопросом ответил Шиловский. – Нас, профессионалов, не так уж много, если считать в мировом масштабе. А вы – истинный россиянин, знаете свой народ и сами из народа, образованный человек. Умеете мыслить в национальных традициях, способны анализировать. К тому же – организаторский талант... Ну и те качества, о которых беседовали утром. На вашей родине очень много работы, черной работы. Неужто всю ее вы взвалите на нас? Нет, батенька, засучивайте-ка рукава! Россия пока что не одна в мире. Нас ждут пролетарии десятков других государств. Но ждут не с голыми руками. Вот почему выбор пал на Россию. Только русский народ способен бескорыстно помочь пролетариям всех стран в освободительной борьбе. Только эта нация может составить костяк легионов, которые пойдут и за три моря. Поэтому я люблю ваш народ, люблю в нем дух Разина и Пугачева. Но прежде в самой России должна быть революция. И тогда народ наконец получит мир и хлеб, свободу и равноправие.

– Пока что мне в это верится с трудом, – признался Андрей. – Я уже много раз слышал, как революционеры и политики обещали чудо.

– В чудо верят лишь религиозные фанатики и дураки, – засмеялся Шиловский, – если не считать некоторых наших политиков-утопистов. Настоящие чудеса способен творить лишь коллективный разум, воплощенный в идею.

– И «эшелон смерти», – вставил Андрей, отчего Шиловский насторожился:

– Что вы имеете в виду?

– Жизнь в «эшелоне смерти».

– Любопытно! – оживился Шиловский, наверное, уже утомленный своим монологом. – Объясните, пожалуйста.

– Право, я не умею абстрактно мыслить... – Андрей слегка замешкался. – Но жизнь народов на земле мне почему-то представляется «эшелонем смерти». Идет себе поезд с запада на восток, потом с востока на запад... Вагоны прицеплены друг к другу, впереди паровоз... И в каждом вагоне – люди, люди, люди. Но никто из них не знает: куда идет эшелон, зачем? А главное – почему? Кто стронул его с места? Кто придал ему движение? Кто подбрасывает уголь в топку? Однако всем известно, что это – «эшелон смерти»!

– Да, картина мрачноватая, – задумчиво подытожил Шиловский. – Но есть в ней мысль, есть... Честное слово, интересно! Продолжайте, Андрей Николаевич!

– А все, – развел руками Березин. – Такая вот модель.

Шиловский неторопливо встал с кресла и, заложив руки за спину, прошел вдоль книжных шкафов, на мгновение задержался, разглядывая какой-то переплет.

– Знаете, я, пожалуй, пошлю с вами некоторые книги, – вдруг заявил он. – У вас будет время читать. Вам нужно читать!.. И еще вам нужно бы отдохнуть, – совсем по-отечески добавил Шиловский. – Мрачность и сумятица в ваших мыслях от усталости, да. Я знаю, вы смертельно устали от потери близких, от войны и крови. А этот проклятый «эшелон» становится маниакальной идеей даже у меня!.. Ничего, Андрей Николаевич, держитесь. Завтра вы сядете на прямой поезд до Красноярска и через три недели будете среди своих земляков. Там и отдохнете...

– Уже завтра? – не скрывая разочарования, спросил Андрей.

– Да, ровно в полдень с Казанского вокзала, – подтвердил Шиловский. – Поедете в мягком, с удобствами и казенным довольствием. Так что считайте сегодняшний вечер нашим прощальным вечером... Вас что-то не устраивает?

– Нет, все в порядке, – уклончиво бросил Андрей. – Все так и должно быть... Просто этот момент, начало нового дела...

– Андрей Николаевич! – по-свойски оборвал его Шиловский. – Вы уж скажите, признайтесь как на духу. Я все пойму.

– Но вы же в Сибирь не отдыхать меня посылаете?

– Верно, работать посылаю, – согласился Шиловский. – На черную работу. Но – почетную, не забывайте! И спрошу строго!

– Судить – не черная работа. Кровавая по нынешним временам! Что же в этом почетного?

– Не скажите, батенька! – Шиловский погрозил пальцем. – Пока ваш пост не велик, да. Председатель ревтрибунала по Восточной Сибири... Но вспомните: кто правит миром?

– Кто? – спросил Андрей.

– Судья! – Шиловский поднял пенсне. – Вы еще не осознали своего теперешнего положения, не вникли в суть вещей. Судья – и более никто, запомните! Во все времена власть решает только вопросы жизни человека. А судья – вопросы жизни и смерти!

Он сделал паузу, и в этот момент Андрей отметил про себя еще одно – третье состояние Шиловского, в котором тот бывал очень редко: нечто похожее на миг откровения. Первый раз Андрей ощутил это в «эшелоне смерти», когда перевязывал рану комиссару. Помнится, он говорил тогда о революции в России и о высшей вере, которая ей необходима, чтобы люди не превратились в скот. Но в тот момент, глядя в горящие глаза Шиловского, Андрей принял все это за бред тифозника. Принял, потому что никак не мог объяснить природу великой убежденности и внутреннего огня, тлеющего в этом человеке, чтобы сохранить жизнь ради единственного – той самой Высшей Веры. И уже много позже, думая о Шиловском как о мертвом, Андрей понял, что он, Шиловский, и был носителем Высшей Веры.

И вот сейчас, глядя в каменеющее лицо Шиловского, Андрей вновь ощутил это редкое состояние своего собеседника. Дело было даже не в словах и истинах, сказанных им, а в заповедности этих слов и истин. Они будто несли в себе какое-то магическое начало, подобное чарующему началу в словах и истинах заговоров и оберегов. Но что это было? Что происходило с Шиловским в миг откровения? Может быть, он открывал свою душу? Или умышленно давал возможность почувствовать тот незримый коллективный разум, воплощенный в великую идею и способный творить то, что всегда творилось лишь Богом? А что, если магия слов, сказанных им, исходит от Высшей Веры, познать и понять которую не так-то просто, ибо сознание масс не может быть революционным?

Андрей встряхнул головой: казалось, пауза длится бесконечно долго и столько мыслей пронеслось в мозгу. Однако не прошло и минуты. Шиловский глубоко вздохнул, будто вынырнув из глубокой воды, и повторил с хрипотцой:

– Кто правит миром? Судья, батенька, он. Не будь Понтия Пилата, распяли бы Христа? Нет, не распяли... Ну, утомил я вас, Андрей Николаевич! – Он улыбнулся и надел пенсне. – Вижу – утомил. До самого Красноярска думать будете. Но – думайте! А через годик я вам устрою хороший отдых. В Крыму, на море, а? – Шиловский глянул на часы. – Я еще жду гостей... Не станем же мы с вами вдвоем сидеть за столом? Я вам надоем, и вы побежите из моего дома без оглядки, да... И так, верно, думаете: зазвал в гости, а не кормит, не поит – за революцию агитирует!

Он распахнул двери и позвал племянницу. Юлия, видимо, стоявшая у плиты, вошла румяная, в белом передничке и с полотенцем на плече. Косынки, уродующей ее голову, не было, и волосы, стянутые бриллиантовой ниткой, доставали до пояса.

– У тебя все готово? – спросил Шиловский.

– Да, дядюшка, – почему-то испуганно произнесла племянница. – Чай будет позже...
– Хорошо, Юля, – одобрил он. – Ты пока займи нашего гостя, а я немного отвлекусь...
Покажи ему книги, картины... А лучше наш живой уголок! Кстати, ты животных кормила?
– Нет еще...
– Заодно и покорми, – распорядился Шиловский и торопливо вышел из кабинета.
Юлия прикрыла дверь и, выждав, когда дядя уйдет подальше, виновато сказала:
– Я вижу, вам плохо, Андрей...
– Нет, ничего, – бросил он и отвернулся. – Мне весело... в гостях.
– Плохо, – повторила она. – Когда вы утром ушли, я поняла... Я во всем виновата.
– Не надо раскаяний, – перебил ее Андрей. – Не вспоминайте... – И неожиданно для себя пожаловался, словно больной: – Душа моя чужая... Грудь онемела, чужая душа.
– Вы же сильный! – Юлия дотронулась до шрама на щеке. – Вы очень сильный человек, Андрей!
– Да, конечно, – сказал он, взбодря себя. – Простите.
– А на дядю не обижайтесь, – попросила она. – Не думайте, что такой надоедливый. Вовсе нет. Он всегда очень сдержанный, даже холодный. И немногословный. А мучает своими разговорами только тех, кого очень любит.
– Что вы сказали? – Андрею показалось, будто он ослышался.
– Мучает, кого любит, – повторила Юлия. – Есть такие люди...
– Да-да, есть, – согласился он, пытаясь осмыслить открытую племянницей тайну Шиловского.
– С другими он очень строгий, потому что беззащитный, – продолжала Юлия. – Он и пенсне носит с простыми стеклами. Чтобы не так было видно глаза.
– Любит, любит, – задумчиво повторил Андрей.
Юлия несколько повеселела и позвала кормить животных в живом уголке. Вначале он послушно отправился за ней, однако возле черного хода, откуда можно было попасть в комнату к животным, вспомнил, как утром входил сюда.
– Я был здесь, – признался он. – Утром.
– Знаю, – сказала Юлия. – И оставили открытым окно.
Андрей внутренне противился, не хотел еще раз входить в этот странный живой уголок, но и отказаться было неудобно. Тем более что чувства смешались, и он бы не смог так сразу и убедительно отказаться. Перед глазами был Шиловский, теперь совершенно непонятный ему человек. Андрей не мог вообразить, что тот комиссар, организовавший расстрел дезертира и прапорщика перед строем на берегу реки Белой, тот Шиловский, что невозмутимо пролежал в вагоне, когда вместо него вешали другого человека, может быть в представлении иных людей тихим, любящим и беззащитным. Пусть хотя бы для родственников! Может заниматься своим домом, семьей, разводить животных в живом уголке... А главное – у него могут быть люди, которых он любит!
Судя по словам племянницы, Андрей тоже удостоился его любви...
Он почувствовал желание как-то оправдать Шиловского, найти житейские, человеческие причины его поведению. «А почему бы и нет? – спорил он сам с собой. – Они ведь тоже люди, люди...»
И тогда все становилось понятно! Зачем Шиловский возится с ним? Зачем вытащил из тюрьмы, произвел в судьи? Да из обыкновенной человеческой благодарности! Из своей привязанности к нему. Из любви, наконец! Если ему не чуждо все земное, то ничего странного и таинственного в жизни Шиловского нет. Просто революционеры – люди непривычные, что ли, своего рода схимники, служители высокой идеи. Ведь и в революции оказываются самые разные люди: яростные и кроткие, злые и добродушные... но – все одержимые и потому похожие друг на друга.

А разве он сам не стал одержимым за последний год?

Андрей перешагнул порог живого уголка, и взгляд тут же остановился на аквариуме с муравейником. Он отвел глаза, но все-таки чувствовал – то боком, то спиной – живую, пульсирующую массу за стеклом, и холодок омерзения охватывал то бок, то спину.

Кроме муравьев и старого павиана, в доме Шиловского жило множество черепах, расплывшихся по комнате, и с десятков веселых, бойких белок, для которых был оборудован целый деревянный городок с решетчатыми теремками, переходами и колесами. Стоило Юлии достать с полки мешочек с земляными орехами, как стремительные зверьки вмиг повыскакивали из потаенных мест, промчались сложными винтовыми лесенками и очутились на кормовой площадке. Возникла забавная возня, но вот белки расхватили стручки, расселись столбиками и принялись совсем по-человечески добывать зерна.

– Такие прожорливые! – восхищенно сказала Юлия. – Но зато очень благодарные. Посмотрите, что они устроят, когда наедятся!

Восхищение ее показалось Андрею печальным и каким-то безрадостным. Он пошел к белкам и случайно наступил на черепашку. Поднял ее, мгновенно спрятавшуюся в панцирь, повертел в руках – неприятная животиная, даже мерзкая...

За спиной неожиданно злобно и визгливо крикнул павиан. Андрей вздрогнул, и на глаза вновь попал муравейник...

– Кузьма очень добрый, – словно извиняясь за этот крик, сказала Юлия. – От клетки устал... Дайте ему поесть, и он запомнит вас на всю жизнь. Подайте ему капусту.

Андрей положил в подставленную обезьянью руку несколько капустных листьев. Заскорзлой, старческой ладонью павиан принял корм, без жадности отщипнул ртом, будто попробовал на вкус, и показал красный отсиженный зад.

– В знак благодарности, – усмехнулся Андрей.

– Потому что вы не пожалели ему руку, – заметила Юлия. – Сначала с ним нужно поздороваться, а потом давать корм.

– Неужели он запомнит меня? – спросил Андрей, вглядываясь в тусклые глаза обезьяны.

– Запомнит, – подтвердила Юлия. – Причем запомнит в лицо. Дядя считает это признаком разума. Кстати, Кузьма – аскет. Неделью без пищи – и не попросит. Ему привозили самку, на случку, а он заплакал. Наверное, от обиды. А может, от старости...

Павиан прислушивался и ел капусту.

– А муравейник... зачем? – спросил Андрей.

Видимо, она привыкла, что все входящие сюда спрашивают об этом и ведут себя одинаково.

– Дядина гордость, – объяснила Юлия. – Он нашел муравейник прошлой зимой в какой-то брошенной квартире. Будто хозяином был профессор, но куда-то исчез... Вернее, не куда-то, а в ЧК... И вот привез, поставил и любит. Часами перед ним, как ребенок. Правда, можно смотреть на них часами, завораживает движение.

– Не расползаются? – Андрей приблизился к муравейнику.

– Почему-то нет...

Белки на кормовой площадке погрызли орехи и подняли веселую потасовку, так что содрогался деревянный городок. Бесконечно вращались беличьи колеса под бесшумными лапками, и это движение тоже завораживало.

Юлия закончила уборку и заспешила на кухню.

– Я здесь побуду, – сказал Андрей. – Посмотрю.

Проводив Юлию, он склонился над муравейником, испытывая колкватый озноб. Окажись все это в лесу – ни один мускул бы не дрогнул. Сколько раз в детстве, да и потом, уже взрослым, он ощущал какое-то восторженное чувство, когда весной на пригретых солнцем полянах обнаруживал муравейник. Тогда он казался олицетворением просыпающейся при-

роды. Все вокруг еще мертво и безжизненно; еще лога и низины забиты снегом и синим льдом; еще не трескались почки на деревьях и трава не видела света, а тут, на самой вершине муравейника, уже кипит жизнь! Будто родничок, пробившись сквозь мерзлоту, выплеснулся и закипел, забурлил под солнцем. Обычно муравьев было немного – всего горсточка, и они почему-то не воспринимались как насекомые, как живые существа; скорее напоминали цветок. Можно было подолгу смотреть, чувствуя, как ликует очарованная душа, можно было поплевать на муравьев, потом подставить ладошку, и когда они окропят ее тончайшими струйками – вдыхать терпкий запах муравьиной кислоты. Или же, поплюнув прутик, дать муравьям облепить его, а затем стряхнуть их и долго потом бродить по весеннему лесу, обсасывая прутик, втягивая в себя слегка пьянящий кислый сок. Андрею всегда чудилось, будто сок этот вовсе не от муравьев. Просто такого вкуса и запаха просыпающаяся земля.

Но как же неестественно и дико было видеть муравейник, заключенный в стеклянные стены и установленный в доме, в центре Москвы! Тысячи насекомых, повинувшись инстинкту, бесконечно двигались вверх и вниз по конусу и отчего-то вызвали омерзительное чувство. Они напоминали не муравьев, а некую единую живую плоть, странную по форме и бессмысленную по содержанию. Бессмысленность – вот что бросалось в глаза в этом движении и существовании.

Андрей подставил палец муравьям, пытающимся одолеть непрístupную стенку, однако тут же получил укус. Он стряхнул насекомых обратно в аквариум и ощутил, как подступает тихое, злое отчаяние. Захотелось нарушить раз и навсегда установленную, благополучную жизнь этого муравейника. Он взял совок и разворошил стенку пирамиды. Что тут началось! Корка насекомых резко и одновременно сменила темп, муравьи устремились к разрушенному месту, началась свалка. А те, что оказались рядом с прораном, уже взялись за работу.

– Андрей Николаевич, пора к столу! – возвестил Шиловский, неожиданно появляясь за спиной. – Занятная штука муравьи, правда? Увлекательнейшая!

– Да-да, – несколько смущенный неожиданным появлением Шиловского, проронил Андрей.

– А вы, батенька, революционер! – засмеялся Шиловский. – Только, скажу вам, революции в муравейниках делаются вот так!

И он совком в три движения развалил весь конус. Легковесный мусор, перемешанный с муравьями, зашевелился как живой, резко запахло кислотой, и столб пыли за клубился в лучах заходящего солнца.

– Теперь им работы на неделю, – удовлетворенно сказал Шиловский. – Иначе они быстро погибают. Если есть корм, значит, должна быть работа. А работа – это жизнь.

– Чем же вы их кормите? – спросил Андрей.

– Я придумал способ, – сообщил Шиловский. – Простой и надежный. Хотя, прямо скажем, не очень гуманный. Одной черепахи муравьям хватает на три месяца... Кстати, панцирь они буквально отшлифовывают! А мой товарищ с Арбата делает из них великолепные портсигары и женские браслеты.

– Вы шутите? – не поверил Андрей.

– Какие уж шутки, батенька! – развел руками Шиловский. – Нужда!..

Андрей заметил черепаху, ползущую через комнату, взял ее в руки, головка и лапки моментально втянулись в панцирь. Она была неувязима и непрístupна, возможно, поэтому смогла спастись в страшных катаклизмах и дожить до наших дней; она была неприхотлива к пище, выдерживала безводье и жару – можно сказать, совершенное существо, способное жить вечно. Но что это за жизнь, если всюду надо таскать за собой тяжелый панцирь, свою крепость? А здесь и она не поможет: муравей проникнет в любую щель...

– Недоразумение природы, – вздохнул Шиловский, заметив интерес Андрея к черепахе. – Исчезли прекрасные и сильные животные. Каков был, например, саблезубый тигр! А мамонт?..

Парадоксы, Андрей Николаевич. Почему природа не пощадила их, а вот эту, прямо скажем, неэстетическую тварь оставила?

– Наверное, в этом есть смысл, – отозвался Андрей. – Выживает тот, кто может приспособиться к среде...

– Нет никакого смысла! – убежденно сказал Шиловский. – Запомните: природа нелогична. Это – стихия, неуправляемая стихия, которой чужда гармония! Вы знаете, когда я стал революционером? Когда осознал, что эволюция губительна для развития жизни на Земле. Только революция в состоянии спасти мир. Всякий мир, всякую материю! Только она способна единожды и навеки восстановить гармонию!

Андрею вдруг стало зябко. Он вспомнил Леса, эту призрачную страну, где люди утверждали Гармонию. Недолгое пребывание в Лесах уже подзабылось, в памяти стерлись лица, имена, осталось лишь ощущение таинственной потусторонней жизни, странного сновидения, пугающего здравый рассудок. Он старался вовсе не вспоминать тот отрезок жизни, боясь, что все это – признак затмения разума, душевного расстройства. Он помнил, что у него, наверное, есть врожденная предрасположенность к этому со стороны матери, и внутренне опасался, что потеряет контроль над собой и не заметит, как перейдет в другое состояние.

Он боялся стать блаженным.

Сейчас же, услышав это слово – «гармония», Андрей будто на мгновение вновь очутился в Лесах. И неожиданно для себя утвердился в мысли, что они, Леса, существовали и, верно, существуют на самом деле! Что это не бред, не фантазии больного разума – реальность! Причем точно такая же, как в этом доме. Нет, все было, было! Как есть сейчас Шиловский, его живой уголок с белками, черепахами и муравейником. Вот и павиан, живой, настоящий, выставив морду между прутьев решетки, пялится осмысленным, разумным взглядом...

– Теперь вы понимаете, что такое революция? – спросил Шиловский. – Что это не толпа на улице и не матросы в пулеметных лентах?

– Кажется, понимаю, – неуверенно, хриплым голосом ответил Андрей, не в силах стряхнуть с себя состояние зачарованности. – Но неужели... неужели возможно переделать природу?

– Можно. – Шиловский приблизился и заглянул в глаза. – Можно переделать и природу, и мироздание. Теперь уже можно. Революция – это начало новой эпохи существования жизни на Земле. А России выпала миссия великая, Андрей Николаевич! Каждый народ живет и развивается лишь для того, чтобы выполнить свое предназначение. Пробил час и русского народа! Отныне вся его история подчинена этому моменту, и нет больше тайны бытия России. Только такой жертвенный народ способен принести себя на алтарь новой эпохи. Великая миссия!

Притихшие в своем городке белки сидели смиренно, и их остекленевшие глаза напоминали пришитые пуговицы. Печальный павиан по-стариковски щурился и, как слепой, ощупывал прутья решетки. Кипели муравьи в разоренном муравейнике. И только черепаха меланхолично и бездумно-механически ползла через комнату, скрежеща когтями по вышарканному, облезлому паркету.

Шиловский тронул Андрея за руку.

– Опуститесь же на грешную землю, батенька! Бывший офицер, а впечатлительный, как барышня. – Он засмеялся. – Хотя русская интеллигенция всегда отличалась прямо-таки дамской чувствительностью... Ну? У вас будет время осмыслить. А сейчас нам пора к столу. Я хочу вас представить друзьям и сделать небольшой подарок...

За столом он разговаривал, отвечал на вопросы и даже смеялся, когда смеялись все, только не понимал – над чем. Чувство, что он всецело подвластен окружающим его людям, обострилось, и теперь Андрею казалось, что он не просто лишен своей воли и зависит от чужой, а что над ним совершается подлинное насилие! Он чувствовал это во всем: не желал знакомиться с друзьями Шиловского, не до знакомств было сейчас, – и знакомился, улыбался и пожимал руки, говорил «очень приятно», «рад познакомиться», когда на душе было тревожно,

смутно и невыносимо хотелось одиночества. Желудок не принимал пищи, а он ел щуку под чесночным соусом. Он не намеревался спорить с кем-либо, однако его вызывали на спор. Ощущая это насилие, он как бы внутренне соглашался с ним, признавал его необходимость, как послушник признает обязательность и неотвратимость монастырского устава. Единственное, на что он уповал и чем тешился, было ясной мыслью о скором конце этого вечера и гостевания в доме Шиловского. Будто перетерпев самую сильную боль, он уже смирился с болью послабее, и теперь оставалось ждать, когда она утихнет совсем. Надо было вытерпеть время.

Шиловский выпил вина и, достав ключи, стал отпирать сейф, вмонтированный в стену. Друзья его вдруг засобирались уходить. Березин тоже поднялся, однако Шиловский запротестовал:

– Нет-нет! Остался еще один торжественный ритуал! Прошу обождать. – Он вернулся с картонной коробкой и торжественно извлек из нее маузер в деревянной колодке. – Сегодня только узнал случайно, что вам не выдали оружия, Андрей Николаевич. Узнал и обрадовался. А то все раздумывал: что бы это подарить вам на прощание? Что можно подарить революционеру?.. Примите, Андрей Николаевич. От чистого сердца!

Андрей взял колодку и, ощущая тревожную страсть, словно перед атакой, вынул маузер. Последний раз он держал в руках оружие перед тем, как пойти в баню после карательной экспедиции на Обь-Енисейский канал. Тогда его разоружили.

Сейчас вооружали. Маузер был новенький, небольшого размера, но оттягивал ладонь. На месте деревянных накладок рукоятки – видно, был приготовлен загодя! – благородно поблескивала отшлифованная черепашья кость.

5. В год 1919...

Полковник Березин прибыл в свою вотчину в туманный полдень, когда от лютых крещенских морозов замерзали на лету воробьи. Никто его не ждал и не признал в лицо, поскольку ехал он в медвежьей полости с верхом да еще завернутый с головой в лисью доху. Он остановился у печального пепелища на месте отцовского гнезда, не выбираясь из кошевы, мрачно поглядел на огарки бревен и заснеженную печь, затем велел ехать на кладбище. Там он постоял у родных могил, вытер леденеющие на щеках слезы и отправился пешком по селу. Березино в тот час словно вымерло, лишь дымы стояли над крышами да собаки брехали на задворках.

Тогда он стал заходить в избы. А к первому зашел к Мите Мамухину, потому что вдруг увидел резные наличники от своего дома, наложенные кое-как на крохотные оконца, а возле ворот – полузанесенного снегом гипсового льва. Митя в тот момент спал на полатах, сын его, Ленька, – на печи, и лишь в углу под иконами сидела и пряла дочь Альбина. Полковник Березин поздоровался и снял шапку.

– Вставай, батяня, – даже не взглянув на гостя, окликнула дочь. – Это по твою душу пришли. Вставай, родимый, да мужайся.

Митю Мамухина обычно трудно было добудиться, а тут он как-то сразу очнулся и, свесив голову с полатей, долго смотрел на вошедшего. И вдруг признал:

– Барин! Михаил Иванович! Вот так гостенек пожаловал!

– Не радуйся, тятя, – осадила его Альбина, по-прежнему глядя в угол, где на гвоздике висела куделька. – Не радуйся, а плачь и проси пощады.

В этот момент с печи слетел Ленька, замахал полами тулупа и унесся в двери. И скоро крик его разорвал зимнюю дрему:

– Плачьте, люди! Просите пощады! Молитесь!..

Потом говорили, что людям в тот миг слышалось, будто в небесах, туманных и морозных, запела труба. Все проснулись от ее звука и обмерли, замороженные...

– В доме моего отца брал что-нибудь? – спросил полковник Березин.

– Да самую малость! – покаялся Митя Мамухин. – Мне ничего и не досталось, всё расхватали...

– Как же ты на грабеж-то решился? – вздохнул полковник.

– Дак этот наустил, ссыльный!

– У тебя же своя голова на плечах.

– А я – как все, – нашелся Митя. – Народ кинулся, и я туда... И то проспал, одни тяжелые предметы остались.

– Сегодня все отнеси назад, – велел Березин. – Потом нарубишь розог и жди своей очереди.

Полковник ушел, а Митя запряг лошадь, оторвал наличники, погрузил льва и поехал на холм. Тем временем Березин обошел все дворы, и народ потянулся на пепелище. Заскрипели на морозе сани, груженные скарбом, заохали, застонали бабенки, таща на плечах и саночках тряпье, зеркала да тяжелое медное литье. Только вот уже ни лошадей, ни скота у березинских не осталось: коров да молодняк прирезали на мясо, кони либо пали, либо взяты были по мобилизации. Как пришло, так и ушло...

Несли добро, сваливали возле заснеженной печи, а сами скорей за ворота. Всем было приказано розги рубить. Полковник Березин вытащил из кучи потертые уже барские стулья с бархатной обшивкой, поставил в рядок, чтобы человеку лечь, а сам с помощью солдат взгромоздил кресло на русскую печь, забрался туда и сел, завернувшись в доху. Солдаты облили керосином имущество и подожгли. Потом началась экзекуция.

Огонь разгорелся так, что рядом стоять было боязно, волосы трещали. Березин приказал мужикам раздеться до исподнего и стоять пока возле костра, дожидаясь очереди. Мужики, смущенные и послушные барину, входили в ворота, вились, раздевались и, подрагивая от холода, жались к огню. Полковник не куражился над ними, не издевался и не насмеялся, когда очередной укладывался на барские стулья. Он будто из нужды совершал экзекуцию: коли положено виноватых пороть, так куда денешься. Говорили, что иные даже слезы на глазах барина видели. И будто он даже сказал однажды:

– Сгубили народ православный. Тысячу лет жила душа – и в один год пропала. Сгубили.

Экзекуцию совершали солдаты. Они грели розги над огнем, чтобы распаривались и не ломались мороженные, и пороли. Мужики кряхтели, терпели, а потом, одеваясь и глядя в землю, просили:

– Уж прости нас, Михаил Иванович, спасибо, что ума вставил.

Митя же Мамухин прикорнул у себя в санях и оказался последним. Когда дошел черед, солдаты уже притомились, да и имущество в костре догорало. Похлестали его кое-как, и полковник рукой махнул: дескать, хватит ему. Экзекуторы потолкали Митю – не встает.

– Вы что же, подлецы, насмерть его забили? – рассердился барин Михаил Иванович.

– Да вроде дышит, ваше высокоблагородие, – растерялись палачи.

Прислушались – а он спит, да еще похрапывает в обе норки. Солдаты засмеялись, растолкали его, встряхнули, и тут Мамухин вскочил, дико на всех посмотрел, потом вдруг плюнул в сторону барина, заругался и закричал:

– Смерть эсплататарам! Долой власть помещиков и капиталистов!

Народ, уже выпоротый, одетый и повеселевший, и слова не мог сказать от неожиданности. Полковник Березин велел вновь уложить Мамухина и всыпать уже как следует. Минут двадцать солдаты махали розгами – даже вспотели. Митя же Мамухин, встав, снова плюнул на печь.

– Не долго вам на тронах восседать! Грядет ваш смертный час!

Березинские сгрудились вокруг места экзекуции и застыли в изумлении: обликом-то вроде Митя, а по глазам и характеру совсем другой человек.

– Дак он, мужики, рехнулся! – догадался кто-то. – Вся ихняя семейка полудурки. А он вот чистый дурак сделался.

Митю в третий раз уложили. И теперь солдаты пороли так, что в одних гимнастерках на морозе остались. Бабы его уж жалеть стали:

– Батюшко Михаил Иванович! Да уж отпусти его, не забивай. Эвон не в себе он! Дак чего ненормального-то учить? Ужо пожалей!

Отпустили Мамухина из-под розог, но он вскочил на стул – босой, в исподнем – и к народу обратился:

– Что же вы терпите узурпаторов, люди?! Мы – не рабы! Доколе еще ходить будете в ярме и кланяться врагу трудового крестьянства? Или мало пролили крови и пота за царскую власть?

И дальше понес в таком же духе. Березинские только рты разинули и совсем окостенели на морозе. Полковник же спустился на землю и сел на стул рядом с митингующим Митей Мамухиным. Некоторые потом говорили, будто он плакал и от слез вся борода обмерзла. Когда речь Митина иссякла, а народ даже не шелохнулся и голоса не подал, Мамухин разгневался, столкнул барина со стула и сам тут лег.

– До смерти порите! – крикнул он солдатам. – Лучше смерть, чем с таким народом жить!

Березинские, видя такое, испугались, попятнулись со двора, кинулись прочь – только пятки засверкали. Солдаты, накинув шинельки на плечи, поглядывали на полковника – что прикажет? Да и розги кончились, одни охвостья под ногами.

– Бейте! – орал им Митя. – Порите насмерть, холопы! Да здравствует свобода!

Один солдат рубаху на Мите отвернул – может, рогожку подложил, бывало и такое, – нет, голая спина, синяя вся и уже пухнет, как подушка. Полковник Березин присел перед Митей на корточки, в лицо заглянул, но тот отвернулся.

– Ты же всегда тихий был, незаметный, – сказал полковник. – Я тебя хорошо помню.

– Был да сплыл! – резанул Митя Мамухин. – Убивай скорей! А то я теперь делов натворю!

– Нет, живи...

Полковник встал и велел солдатам одеть Мамухина. Солдаты насильно запахали его в штаны и пимы, натянули драный полушубок и кушаком подвязали.

– Эх-х, разбудил ты меня, – только и сказал Митя. – И еще пожалеешь, что не запорол.

И ушел со двора какой-то непривычно валкой, медвежьей походкой. Один из солдат незаметно для полковника вскинул винтовку, но затвор замерз и ударник «пошел пешком» – выстрела не получилось. Солдат хотел перезарядить, дернул затвор, да выбрасыватель не сработал, другой патрон уткнулся. Полковник заметил это и молча ударил солдата в лицо. Тот упал в снег, заворочался, закорячился, поднимаясь, но так и не встал, отчего-то заплакал.

Полковник вместе со своей охраной остановился на ночлег у Пана Сучинского. Долго не мог заснуть. Сидел возле пригашенной лампы, уставясь на огонек, едва мерцающий за темным стеклом, потом бродил по просторной избе, где вповалку спали солдаты, и к полуночи вышел на улицу. Его привлек скрип шагов в переулке, далеко слышимый на морозе. Полковник Березин пошел на звук и неожиданно увидел какую-то бабенку, которая, согнувшись в три погибели, несла уцелевшие от огня барские стулья, оставшиеся от экзекуции. Он не поверил своим глазам. Прячась в тени забора – а ночь выдалась лунная, без тумана, – Березин подошел ближе к переулку. Бабенка постанывала, пыхла и чуть ли не срывалась в бег. А за ней, отставая и прихрамывая, спешил мужичок с креслом на горбу.

Полковник Березин прислонился к забору, вздохнул тяжело и перекрестился...

Пан Сучинский ходил потом по селу и всем рассказывал, что барин Михаил Иванович напился самогону и все пытал его, слепого старика: кому и каким образом удалось так быстро сгубить православные души? «Скажи-ка ты мне, старый бунтарь и смутьян, что это за сила, смутившая русский народ? – будто бы спрашивал барин. – Знаешь ли ты, видел ли ты хоть одного человека, силой такой наделенного?» Избежавший порки Пан Сучинский побаивался грозного полковника и твердил, что давно ничего не видел и не знает, поскольку слепой. Но сам про себя восхищался полковником Березиным и, говорят, частенько замечал: «Сердечный был человек, справедливый барин и душевный господин. Мало он вас, мужиков, порол, мало... Считайте, от Бога розог получили. Ведь он истинный Михаил Архангел!»

Ночью, после экзекуции, с полковником Березиным и палачами было покончено. Рассказывали, что Михаил Иванович даже не сопротивлялся. Его вели на расстрел, а он будто бы расспрашивал всех встречных – мужиков, партизан – и хотел выяснить одно: что же произошло с людьми и миром? Что?..

Он, видно, очень боялся, что не успеет узнать – прежде чем прогремит выстрел.

И не успел.

Но истина открылась ему в смерти.

Когда от неожиданного удара итальянцев по Березину и Свободному погиб партизанский командир Анисим Рыжов вместе со своими орлами, Митя Мамухин был одним из тех, кто сумел скрыться и уйти от смерти. Тогда он был простым партизаном, еще безвинтовочным, и ходил с огромным тесаком, самолично откованным Анисимом Петровичем. Командир сразу же приблизил к себе Мамухина, поскольку народ в Березине только и говорил о его храбрости и нестигаемости во время полковничьей порки. И впрямь глаза у Мити горели, будто у уросливого жеребца, и покрывались кровяными прожилками, если речь заходила о скорых партизанских походах.

– Ты мне ндрависься, Дмитрий! – говорил Рыжов. – У тебя вид геройский. Ежели он к весне не пройдет, когда Есаульск брать пойдем, я тебя в ротные командиры произведу.

Мамухин ждал весны, а пока набивал руку, рубая тесаком мелкую березовую поросль, колья и прясла. Но не сбылась мечта Анисима Рыжова, не довелось ему взять Есаульск и сесть там комендантом. Сгубили отважного вождя проклятые итальянцы-интервенты. И когда Андрей Березин привел из тайги основные силы и выбил захватчиков из обоих сел, Митя Мамухин понял, что пробил его час.

Сначала он попытался взять власть в отряде, объявив себя единственным наследником командира Анисима Рыжова. Однако Березин приказал арестовать Мамухина и запереть в амбаре. Митю заперли, но поротые полковником березинские устыдились, что самого смелого из них посадили под замок, и ночью выпустили его на волю.

– Видали? – сказал тогда Мамухин. – Весь ихний род такой! Погодите, он еще отомстит и за своего дядю, и за поместье. Попомните мои слова!

Той же ночью он обошел все дворы, где отдыхали партизаны, вышедшие из тайги, и предложил не ходить с Березиным, а остаться пока дома и собрать свой отряд. А Березин, мол, пускай командует чужаками, которых было уже две сотни штыков. Мужики тогда еще не особенно-то доверяли Мамухину, помня его по мирным временам, но больно уж хотелось пожить дома хотя бы месячишко-другой, вспахать землю, посеять, хозяйство поправить, а там и повоевать можно. Сразу никто согласия не давал, но задумались мужики, соблазн-то велик. Тем временем Мамухин уже был в Свободном и вел агатацию там. Свободненских погубило много от рук итальянцев, село воем выло, слезами заливалось, и с Митей никто не желал разговаривать.

– Хватит с наших-то! – кричали и бабы, и мужики. – Мы эвон сколь отдали. Хватит! Считай, с каждого второго двора по мужику. Не пойдем более воевать! Пускай тепер с березинских берут!

– А и хорошо! – подогревал Мамухин. – А и не воюйте!

Через сутки, когда отряд Березина должен был уходить, возникли смута и раскол. Березинские во главе с Мамухиным построились отдельно и заявили, что из села не пойдут, пока не посеют. Свободненские же вообще не явились на построение, и посыльный, прибывший оттуда избитый и обезоруженный, передал Березину ультиматум: мужиков в селе не трогать и насильному уводу в партизаны не подвергать. Иначе, мол, собьем свой отряд, и тогда лучше не попадитесь в тайге.

И напрасно комиссар Лобытов говорил речи, напрасно Березин уговаривал уважаемых мужиков села – никто, кроме бывшего барского конюха Ульяна Трофимовича, с ними не пошел. Да и тот был весь обожженный, израненный, для войны никудышный – потому и отдали.

Березин уводил свой отряд под свист и улюлюканье. Степенные партизаны из богатых мужиков качали головами, говорили неодобрительно:

– Дурной народ в здешних местах. Ой, паря, дурной...

Мамухин хорошо помнил гибель славного вождя Анисима Рыжова. А потому собрал березинских партизан вместе с женами и ребяташками, привел к братской могиле и велел клясться, что будут соблюдать железную дисциплину и бдительность. Мужики клялись, а бабы причитали:

– Вы уж слушайтесь командира, ироды! Ведь детей сиротами оставите, хозяйство – без хозяина и нас овдовите!..

Ребяташки подпевали хором, теребя отцов за штаны:

– Тять, слушайся, тять...

После этого Мамухин ввел строевые занятия, организовал караульную службу и гауптвахту. Березино больше никто не тревожил, война шла где-то за Есаульском, а то и совсем далеко – у железной дороги, поэтому партизаны спокойно отсылись и стали собираться в поход на Есаульск. Мамухин провел дополнительную мобилизацию, призвав на службу всех от шест-

надцати до пятидесяти лет, и поехал в Свободное за пушками и порохом. Однако свободненские заупрямились и не захотели отдавать все пушки. И поделили не по справедливости: железные, кованые оставили себе, а березовые на тележных передках отдали соседям. Мол, ковал-то Анисим Рыжов, а он наш, свободненский. Скажите спасибо, что деревянные отдаем.

И вот когда отряд Дмитрия Мамухина в семьдесят штыков и при трех пушках был готов к походу, вдруг прискакал мужик из Свободного и стал просить, чтобы взяли с собой и соседей. Свободненские, прознав, что Мамухин ведет березинских брать Есаульск, вначале обескуражились и даже возмутились. Дескать, как так: какие-то переселенцы, бестолковые мужики, пойдут воевать Есаульск, а мы, казахи потомки, внуки Ермака Тимофеевича, вроде не способны и останемся возле бабьих юбок? Не бывать этому! Хлеб посеяли, хозяйства подправили; винтовки, шашки и даже железные пушки есть, можно воевать до жатвы. А бабы как-нибудь летом сена накосят. Пойдем и сами возьмем город! Однако посчитали живую силу – полста штыков только набирается. Не тащить же за собой непризывные возрасты. Такими силами Есаульск не отвоевать. Придется с березинскими соединиться, да и как ни говори – они первые собрались на город.

Мамухин для гонора поломался – а у самого от радости сердце зашло: отряд-то получается боевой! – и согласился. Но при условии полного подчинения и стальной дисциплины. В назначенный час партизаны распрощались с родней, построились и пошли на Есаульск.

Первый раз Мамухин штурмовал город с ходу. Подошли ночью почти к самой околице, поставили пушки, зарядили «шрапнелью» – битыми чугунами и сковородками, а с рассветом шарахнули по Есаульску так, что у самих уши заложило. Однако не медля развернулись цепью и пошли в атаку. Но в городе гарнизон большой был: около двух батальонов пехоты и эскадрон кавалерии. Так что внезапное нападение не увенчалось успехом и пришлось отступить в тайгу. Зато провели разведку боем и попробовали неприятельскую силу. Пожив месяц в тайге, партизаны привели себя в порядок, разузнали, где размещаются казармы, и решили пойти на приступ с другой стороны, откуда их совсем не ждут. Опять подошли ночью, изготовились, зарядили орудия, но палить не стали, а запустили в город человек двадцать партизан, чтобы они шуму там наделали и вызвали гарнизон на открытый бой. Иначе стрелять «шрапнелью» по Есаульску – только порох переводить. Крыши издырявили да стекла в окнах повыхлестали. Лазутчики проникли к казармам, дали несколько залпов и побежали. Гарнизон поднялся «в ружье» и кинулся догонять партизан. А те навели их на засаду. Тогда и пригодилась «шрапнель». Пушки ахнули по живой силе противника, выбили сразу человек тридцать. Тут-то партизаны и пошли в наступление. И погнали неприятеля. И уж почти до есаульского базара догнали, но в этот миг вылетела навстречу конница, потом автомобиль с пулеметом, и пришлось оставить занятые улицы, а на них – человек пятнадцать убитыми и ранеными.

Пришлось снова уйти в тайгу, чтоб сделать передышку и прикинуть, как лучше овладеть Есаульском. И тогда Мамухин смекнул, что без кавалерии города не взять. Отрядил он десяток партизан в свои села, чтобы собрать коней и провести дополнительную мобилизацию взамен погибших бойцов. А пока ходоки ходили, пришел в отряд незнакомый человек и сказал, что он комиссар из Центросибири и явился, чтобы узнать, что это за отряд штурмует город Есаульск. Мамухину в то время не до комиссаров было, партизаны приуныли после неудачи и потерь, и надо было поднимать боевой дух. А незнакомец все липнет и липнет с вопросами. Потом и вовсе рассердился и начал приказы отдавать, чтобы Мамухин немедленно подчинился Центру партизанского движения и шел бы «за тридевять земель» – к «чугунке». Там, мол, настоящая война, а ты на кой-то ляд город штурмуешь. А Мамухину после полковничьей порки слова поперек не скажи. Собрал он партизан на митинг и объявил народу, чего пришлый требует. Мужики загудели – не пойдем, далеко, а скоро хлеб жать, и так все лето бьемся-воюем.

– За что же вы бьетесь?! – закричал комиссар. – За какую власть? Кто вы такие? Какой партии?

Мужики злые были, ему бы не кричать, а лучше уйти восвояси, но комиссар с характером попался, завел мужиков.

– Мы за свою власть бьемся! – закричали они. – Все воюют, а мы что, рыжие? И мы воевать будем! Нам надо Есаульск захватить!

– На что он вам сдался?! – взорвался пришелец. – Подумайте своими дремучими мозгами!

– Мы выполняем светлую мечту партизанского вождя Анисима Рыжова! – с достоинством ответил Мамухин. – А ты иди отсюда, а то стрельнем тебя, и дело с концом.

– Да он неприятельский лазутчик! – загалдели мужики. – Хочет угнать нас к «чугунке», а там мы погибнем, и хозяйства наши защищать будет некому!

Тут Мамухин понял, что если отпустить комиссара, то он снова придет и других приведет. И начнут они буянить в отряде и железную дисциплину ломать.

– Шпион, говорите? – спросил у народа Мамухин.

– Шпион! – заорали мужики.

Мамухин достал наган и застрелил пришельца. Тот и рта не успел открыть. Партизаны вдруг стихли, стушевались, но смолчали: сами же кричали – шпион... А у командира глаза загорелись, лицо обтянулось, будто головка сапога на колодке. Он понял, что трудно будет поднять партизан на штурм в третий раз, если они не испытают, что такое победа. И повел отряд брать село Усть-Повой. Опять установили пушки у околицы, послали бойцов шуму наделать и, выманив взвод противника из села, пальнули по нему из укрытия. Кто живой остался, из винторезов перехлестали. И вошли в Усть-Повой походным порядком. Мамухин сразу же начал собирать трофеи и проводить конную мобилизацию. Прочесали богатые дворы, добыли семнадцать лошадей, хлебом разжились, мукой и картошкой. Запрягли телеги и ходки, погрузили добро, и через два часа их и след простыл.

Обрадовались партизаны, вдохновились, повеселели:

– Теперь-то уж враз Есаульск возьмем!

Но гарнизон в городе привык к нападениям, все время начеку сидел и оборонялся. Два дня вели партизаны позиционную войну, весь пушечный порох истратили, все чугунки и сковородки перекололи на «шрапнель», а Есаульска так и не взяли. Попрятали орудия в тайге и подались домой – хлеб убирать.

Потом Мамухин штурмовал Есаульск и в октябре, и в ноябре, уже по холоду, но противник не желал зимовать под открытым небом и город не сдавал. А партизаны мерзли у костров, по шалашам, и тут уж либо Есаульск бери, либо домой на зимовку уходи – на печи греться. Попробовали еще раз Усть-Повой захватить, и захватили, да из Есаульска двинули против них четыреста штыков, так что едва ноги унесли.

И лишь знаменитый декабрьский штурм увенчался наконец успехом. Ударили на сей раз сразу с четырех сторон, но оставили «прореху» для отступления неприятеля. А в горле той «прорехи» спрятали пушки. «Шрапнели» больше не было, так зарядили «картечью» – крупной отсортированной галькой. К тому времени две деревянные пушки разорвало и артиллерии поубавилось, но зато появился пулемет английского образца, случайно найденный в саних у проезжего мужика. Коня, сани и пулемет реквизировали, но мужик не пожелал расставаться со своим добром, купленным на ярмарке за пять пудов хлеба, и пошел партизанить к Мамухину на установленный срок, пока не захватят Есаульска.

Атака удалась: противник хлынул в «прореху», напоролся на засаду, понес большие потери и стал сдаваться партизанам. Но Мамухин решил никого не брать. Всех сдавшихся он отпустил. Однако к ночи они вернулись в город и стали проситься в плен, поскольку кругом было холодно. Их прогоняли в тычки, пленные не уходили, отчаянно матерились и совестили победителей:

– Мать вашу так! Да вы чё, на самом деле? Не русские, что ли, не православные? Пустите хоть погреться!

Взяв Есаульск и став комендантом, Мамухин сразу же завел себе пару выездных коней, выбрал из трофеев медвежью доху, лисью шапку и маузер. На следующий день он провел парад своего воинства, издал приказ о военном положении, по которому запрещалось передвижение гражданских лиц по центральной улице, ибо на ней проходили строевые занятия.

В самый разгар победы и славы в отряд Мамухина прислали еще одного комиссара. Приехал он с красным знаменем и со свитой лихих кавалеристов, торжественно вступил в занятый партизанами Есаульск и остановился возле штаба. Караулы, видя такое важное представительство, пропустили приезжих. Мамухин вышел на крыльцо и в первый момент обомлел: ему-то доложили, будто прибыл новый комиссар, а перед ним в окружении всадников гарцевал на горячем жеребце ссыльный студент Пергаменщиков! Вскипел комендант, сердце огнем налилось: вот он, извечный враг коварно и предательски погибшего славного вождя Анисима Рыжова! Живой и здоровый стоит, в черную кожу, в собачью доху приоделся, но шарф на шее все тот же, изжеванный и засаленный. Нет, как только посмел явиться сюда, где анафеме был предан и заочно к смерти приговорен?! И ведь еще улыбается, вошь неподавленная!

Мамухин пересилил свой гнев – негоже терять свое партизанское достоинство перед каким-то студентишкой! Заложил руки за спину, покачался на носках белых бурок и велел приезжим спешиться. Посыльный комендант, сын Анисима Рыжова, вынес из штаба доху, набросил Мамухину на плечи.

– Смотри, – сказал ему комендант, – перед тобой враг крестьянского большевистского дела и всего человечества – ссыльный Пергаменщиков. Гляди, какой он есть.

Посыльного – а было ему лет тринадцать – аж передернуло, и рука потянулась за винтовкой: от покойного отца еще слышал эту фамилию, от матери, когда Анисима Рыжова в кандалы забили и угнали на каторгу. Вся боль и беда шли от этого человека, все детское горе им замешано, выпечено, подобно караваю, и теперь есть не переест горького хлеба. Наверное, прямо бы с крыльца и саданул его из винтореза отчаянный парнишка-посыльный, да Мамухин остановил, утешил:

– Потерпи... сынок. Мы его самым страшным судом судить станем. Самой страшной смертью карать.

Свита Пергаменщикова спешила, лошадей к коновязи потянула, но сам «студент» все еще гарцевал, похлопывал жеребца по шее, жмурился на солнце.

– Узнаете меня, товарищ Мамухин? – спросил он.

– Признал, признал, – сквозь зубы выдавил комендант Есаульска.

– Комиссаром в ваш отряд послан, – заявил Пергаменщиков. – Из центра. Прошу любить и жаловать.

– Пожалую, – проронил Мамухин, смирив гнев.

Он лихорадочно придумывал казнь «студенту», но ничего толкового в голову не приходило. Если на березы поднять, так зима, дерево мерзлое и не согнешь его, чтоб ноги привязать, сломается. Просто расстрелять или зарубить тесаком, откованным в кузне Анисима Рыжова, для такого врага мало. Раздеть бы да на комарах оставить в тайге, но ведь не лето, нет комаров. «Вот как бывает! – про себя загоревал и восхитился комендант. – Такой вражина, такой супостат попадет, что и казни смертной на него не придумаешь!»

– Много слышал о вашей беззаветной преданности делу революции, – сказал Пергаменщиков и слез с коня. – По всей Сибири и Уралу идет слава о коменданте партизанского района. А ваш мужественный штурм города Есаульска войдет в историю гражданской войны! Так что рад буду служить при таком легендарном полководце. И в старости гордиться буду, что состоял комиссаром у самого товарища Мамухина!

Сказал он это все на одном духе и с такой любовью, что комендант на мгновение расслабился и забыл о казни. Но, спохватившись, спросил:

– А какой ты партии нынче?

– Самой верной и преданной – партии большевиков! – ответил Пергаменщиков с достоинством.

Ответ Мамухину понравился, Анисим Рыжов всегда большевиков хвалил. Но ведь прислали уже одного комиссаришку из них, тот сразу же хотел отряд к рукам прибрать. И прибрал бы, не прояви Мамухин партизанской бдительности.

Пергаменщиков стоял внизу, комендант – на крыльце. Оба раздумывали, приглядывались друг к другу, смекали, что к чему. Первым нарушил затянувшееся молчание Мамухин.

– Я тебя должен казнить, – заявил он. – По завещанию мудрого партизанского вождя Анисима Рыжова. Так что, парень, готовься к смерти. Все, что хотел Анисим, я исполнил. Исполню и последнее его желание.

Рота партизанского воинства, что занималась строевой подготовкой, промаршировала к штабу, развернулась во фронт и замерла по стойке «смирно». Пергаменщиков поглядел на выправку бойцов, похвалил:

– Вы, товарищ Мамухин, на сегодняшний текущий момент лучший командир во всей Сибири. У вас природный талант военачальника и революционера. Я вам пророчу большое будущее!

– Без тебя знаю, – огрызнулся комендант и беззлобно добавил: – Побеждать возможно только при железной дисциплине. Славный вождь Анисим Рыжов своей смертью доказал. Все равно тебя ждет кара трудового народа. Судить буду!

Пергаменщиков, как всегда, ничуть не смутился и не испугался. Свита его вроде бы рыпнулась, потянула карабины из-за плеч, однако партизаны окружили ее и разоружили в один миг. Новоявленный комиссар спокойно поглядел на такое самоуправство, скинул доху, швырнул ее на снег, а на нее бросил свой револьвер.

– А я слышал, вы мудрый человек, Дмитрий Иванович, – сказал он. – И за что бы ни взялись, все решаете по справедливости.

Парнишка-посыльный изнывал за спиной Мамухина, теребил полу дохи:

– Кончай его, дядь Мить! Смотреть больше не могу! Или я его счас!..

– погоди, – сдерживал Мамухин. – Придумаем ему казнь, погоди.

– Убьете меня, а что дальше делать станете? – спросил Пергаменщиков.

– Волкам бросим! – с острой по-детски ненавистью выкрикнул сын Анисима Рыжова. – Или собакам!

– Слышал голос народа? – кивнул комендант на посыльного. – Вот сколько ненависти против тебя накопилось в крестьянских сердцах!

– Товарищ Мамухин, я вас не о том спросил, – невозмутимо заметил Пергаменщиков. – Спросил я вас о дальнейших планах вашей революционной борьбы. В мужественной и героической войне вы взяли город Есаульск. Ну а дальше что делать? Куда вы поведете ваших преданных и храбрых богатырей? Есть ли у вас реальный план?

Мамухин насупился. Пергаменщиков спрашивал как раз о том, над чем бился уж много ночей комендант Есаульска. Ну верно, взял город, а дальше? Красноярск штурмовать? На Енисейск поворачивать? Сил не хватит. Сидеть в Есаульске – так партизаны скоро домой запросятся, пахать и сеять надо. К тому же какая армия без войны?

Однако тайных дум своих комендант не выдал ни видом, ни голосом, сказав с подозрительным прищуром:

– Выведывать планы – дело шпионское. Ты уж не лазутчик ли, часом? Не от Колчака ли посланный?

– У меня мандат имеется, – невозмутимо заявил Пергаменщиков. – А вот дальнейших планов и руководства к действию у вас нет, дорогой товарищ Мамухин.

– Есть у меня и планы, и действие! – рубанул комендант. – Только тебе хрен скажу!

– Ну если есть, то казни меня, – согласился Пергаменщиков и стал разматывать с шеи шарф. – Я тебе тогда не нужен, и зря меня послали сюда. Действуй по плану. Да здравствует мировая революция!

Он был готов умереть, и посыльный Мамухина уже водил винтовочным стволом по его фигуре, выцеливая то голову, то грудь.

– Не стрелять! – предупредил комендант и спустился с крыльца. – Казнить всегда успеем. Сначала судить надо, по революционным законам и заветам.

– Я разрешаю без суда, – позволил Пергаменщиков. – Я смерти не боюсь.

В эту секунду грохнул выстрел. Все всполошились, завертели головами и увидели Леньку-Ангела на крыше штаба. Ленька перезаряжал берданку. Не успел Мамухин слова сказать, как с крыши громыхнуло еще раз. Пуля взъерошила волосы на непокрытой голове Пергаменщикова и вспорола снег за его спиной.

– Ленька! Запорю, гаденыш! – крикнул комендант и погрозил кулаком. – Не смей!

Ленька-Ангел зарядил берданку и выстрелил. Пергаменщиков даже не вздрогнул.

– Батя! – заорал Ленька. – погоди, батя! Я тебя сейчас освобожу! Всех освобожу!

Он пальнул еще раз, и под шумок, пользуясь неразберихой, ударил из винтовки рыжий посыльный – сын Анисима. Бил почти в упор, но пуля лишь резанула сугроб за левым плечом «студента».

– Стойте, сволочи! – заорал Мамухин. – Приказываю не стрелять!

Голос его потонул в сдвоенном треске выстрелов, пули кромсали снег. Тогда комендант сшиб с крыльца своего посыльного, вырвал у него винтовку и потащил Пергаменщикова в штаб. Ленька-Ангел взревел и, разогнавшись по крыше, развернул полы тулупа...

Мамухин выгнал из штаба писаря, запер дверь на крючок.

– Видал гнев народный? – повернулся к Пергаменщикову.

– Да, товарищ Мамухин, – согласился тот. – Благородный гнев. Только знаменитый партизанский вождь Анисим Рыжов тоже находился, мягко говоря, в состоянии заблуждения.

– Кто? Анисим?! – взъерился Мамухин. – Да он был самым светлым и верным вождем! Он уже погиб за революцию, а мы еще нет!

– Я тоже такого же мнения, – поддержал Пергаменщиков. – Но и дорогой товарищ Рыжов не знал дальнейших планов революционной борьбы! Завоевал бы он Есаульск в упорной и кровопролитной войне, а потом куда? Что? Зачем?

Комендант промолчал, заерзал в кресле, взятом из купеческого дома. Пергаменщиков сделал паузу и робко переступил с ноги на ногу.

– Нельзя двигать революцию в полных потемках, – ласково сказал он. – Вот я и пришел, чтобы открыть вам незрячие глаза, развернуть перед вами, доблестный партизанский вождь, генеральную карту революционного похода.

Мамухин выглянул на улицу, подозвал посыльного и велел никого в штаб не впускать. Тот стал клянчить отобранную винтовку, выклянчил и, взяв на ремень, встал у дверей. Час стоял, другой, третий, и все больше овладевало им беспокойство: уж не прибил ли втихаря ненавистный Пергаменщиков геройского командира красного партизанского воинства? О чем можно так долго разговаривать, когда надо отомстить за отца и поставить «студента» к стенке?

Вокруг штаба ходил кругами Ленька-Ангел, прицеливался в зашторенные окна и скулил, словно побитый щенок:

– Потерпи, батя, освобожу-у...

Комендант Есаульска с комиссаром Пергаменщиковым просидели до глубокой ночи, затем Мамухин попросил еды, и они заперлись до утра. Никто не слышал, о чем они беседо-

вали, однако на рассвете Мамухин вышел на крыльцо, обнимая комиссара за талию. Приказал построить войска и, когда партизанские роты замерли перед штабом, стал держать речь:

– Товарища комиссара Пергаменщикова уважать и слушаться, как меня. Как только победим проклятую интервенцию и колчаковщину, пойдем в поход на Индию!

Мужики-партизаны в строю зашушукались, запереглядывались, кто-то неторопливый спросил: далеко ли эта Индия? И тогда со всех сторон посыпалось:

– Далекo! За зиму-то не сходить.

– А за зиму не сходить, дак не пойдем.

– Весной-то сеять! Может, на лето сходим?

– И за лето не успеем!

– Пойдем на Индию! – резче повторил комендант. – А надо будет – так и через Балканы, и через Кордильеры! Мы понесем свет революции во все темные уголки планеты!

На том митинг окончился. Партизаны, подчиняясь дисциплине, приказ командира вслух не обсуждали, но каждый думал про себя и об Индии, и о революции, и о жене своей и ребятишках, и о земле-кормилице.

Новый комиссар не кричал, не лез в военные дела и боевые учения, а наблюдал за четкой организацией партизанской жизни, за строгой дисциплиной и нарадоваться не мог. Его изумляло все: строевые занятия, чистота оружия, пушки, четырнадцатилетние новички, владеющие штыковым боем. Дмитрий Мамухин видел восхищение комиссара и был доволен. Пергаменщиков сравнивал его со Спартакoм, который тоже был вроде партизана и командовал восставшими рабами. И так, душа в душу, они прожили весь декабрь, а потом и несколько дней января, до того самого часа, когда не стало на свете комиссара.

Посыльный и Ленька-Ангел сговорились и решили, что коменданта толкают на предательство заветов Анисима Рыжова и что комиссар только и ждет случая, чтобы коварно убить партизанского вождя Дмитрия Мамухина. Сам Мамухин, по их мнению, ни о чем таком слышать не желал потому, что был ловко обманут. Несколько раз посыльный с Ленькой скарауливали Пергаменщикова и стреляли в него, однако не брали комиссара свинцовые пули. Тогда Ленька забил в ствол берданы медную пуговицу, а посыльный взял отцовскую саблю, которую заговорила есаульская знахарка. И так пошли они на Пергаменщикова. Проникли тайно в штабную горенку, где спал комиссар, и там... Одним словом, исполнили завет.

– Зачем вы его убили? – плакал геройский вождь партизан. – Он мне путь открыл, дорогу верную показал! Он мне дал взглянуть на карту генерального похода революции. Как же я пойду теперь на Индию? Как найду ее? Пропадем без комиссара. Война кончится – опять мне землю пахать? А я не хочу! Вот она где у меня – земля! – резал он себя ладонью по горлу. – Я был создан для революции, я родился, чтоб освободить народы от ига капитализма! Не пойду назад в крестьяны! Воевать буду!

Через несколько дней к Есаульску подошли части регулярной Красной Армии. Командование к партизанам отнеслось хорошо, их поставили на довольствие, а Мамухина утвердили комендантом. Однако не минуло и недели, как вышел коварный приказ: сдать Красной Армии с такими боями взятый город, партизан разоружить и отправить по домам. К тому же еще арестовать и предать суду военно-революционного трибунала всех, причастных к убийству комиссара Пергаменщикова.

В первый момент у прославленного партизанского командира и вождя революционных бойцов земля закачалась под ногами. Он был согласен сдать город и даже выдать суду своего сына Леньку-Ангела вместе с посыльным, но только чтобы не разоружаться и не расформировывать лучший партизанский отряд. Наверное, это было предательство революции, если кто-то додумался распустить по домам закаленных бойцов, которым еще воевать в разных странах за свободу народов.

И тогда Мамухин захватил склад с провиантом, нагрузил обоз всяким армейским добром и боеприпасом – все сгодится для будущих боев – и отправился в родные края. Он знал, что за ним пошлют погоню, и поехал не по дороге, а по льду реки, чтобы был обзор.

Через неделю, совершив кружной путь, Мамухин пришел в Березино и застал там продотряд, выгребавший из амбаров хлеб. На допросе продотряд признался, что послан из Есаульска и будто бы хлеб нужен революции.

Мамухин понял, что кругом творится немыслимое предательство и измена. Хоть снова иди и бери Есаульск!..

6. В год 1920...

Трибунал... Кара...

Есть слова, от звучания которых прежде вздрагивает душа и лишь потом доходит их смысл. Они понятны без перевода на всех языках.

Контрреволюция, террор, экспроприация, реквизиция, диктатура...

Слова эти были интернациональны в России, ибо ни одно из них не имело русского корня.

Они повторялись всюду на разные лады, словно языческое заклинание; они легко срывались с уст и были конкретны, как пулеметная очередь. В некогда сложном российском народе, где человек порой не мог понять даже себя и вечно терзался вопросом – кто я, зачем живу? – где преклонялись перед мучеником, а не перед знатностью и канонизировали блаженных нищих, – в этом народе набор рычащих слов и их суть враз упростили мир до животной простоты.

«Кто не с нами – тот против нас», «Кто не работает – тот не ест», «Кто был ничем – тот станет всем»...

Первое время после Москвы Андрей ездил по освобожденным районам Сибири и не мог отвязаться от ощущения, будто снова оказался в степи под Уфой и бродит по земле, усеянной костями. Война откатилась далеко на восток, словно таежный пожар, однако кругом все еще дымились и вспыхивали его очаги. Из тюрем и приспособленных для этой цели подвалов освободили одних, но тут же и загрузили их другими, словно опасаясь, как бы не осталось пустым нынешнее «святое» место. Одно военное положение заменили другим, а законы его – увы! – одинаковы при любой власти. Вместо интендантских и фуражных отрядов по городам и весям продовольственные отряды, колчаковскую контрразведку заменила ЧК, и что больше всего потрясло Андрея, так это то, что могилы замученных большевиков переносили на центральные площади, а в освободившиеся ямы сбрасывали трупы расстрелянных по приговору чрезвычайки.

И если в Москве, выслушивая инструкции работников ревтрибунала или в беседах с Шиловским, он видел перед собой конкретных людей, видел их глаза, лица, руки, и было нетрудно понять и почувствовать, от кого исходит чужая воля, то здесь, за тысячи верст от центра, воля эта была незримой, неосязаемой, но довлеющей над человеком с силой еще более неотвратимой. Андрей надеялся, что с расстоянием гипноз чужой власти ослабнет, а то и вовсе перестанет существовать. Впрочем, так и случилось, и он почувствовал это еще в поезде, по дороге в Сибирь. Он был свободен и владел своей волей, но лишь в той степени, пока не вспоминал, кто он и зачем послан. Но и тогда была все-таки возможность проявить свою волю, хотя бы потому, что слова «трибунал» так или иначе опасались даже власть имущие люди, привыкшие к раскатам громовых революционных слов. К тому же многие знали, кто такой Березин, помнили его расправу с пленными на Обь-Енисейском канале и всегда подразумевали, кем обласкан был он в столице и как произведен в судьи.

Можно было проявить волю...

Но невидимые чужая власть и воля, материально доходившие сюда разве что в виде телеграфных лент, засургученных пакетов с мало кому ведомым содержанием, однако же были вездесущи и усилены многократно. Казалось, глаза, глядящие в упор, и руки,двигающие тебя, куда мягче: все-таки человеческий образ. А воля, воплощенная в телеграфную ленту, напоминала длинный, свистящий в воздухе бич, совладать с которым невозможно.

Кругом говорили, что это – воля пролетариата, что это его властная рука, его ум, честь и совесть.

Диктатура пролетариата.

Трепещите, враги!

То было странное, непривычное состояние: Андрей чувствовал свои развязанные руки, и рот ему никто не затыкал, и простор был кругом на многие сотни верст. И одновременно ему чудилось, будто он постоянно находится в каком-то магнитом поле. Он мог судить – творить то, что отпущено лишь высшей власти. Шиловский знал, что говорил: судья правит миром... Он мог миловать. И миловал бы всех, если бы не обязан был казнить. Он много говорил, иногда до хрипоты и отвращения к своему голосу, а вот по душам поговорить было не с кем! Тауринс от природы был молчалив, да и не доверял ему Андрей; Юлия, племянница Шиловского, – чужой, хотя и участливый человек, к тому же многого не поймет по молодости. Были еще почти всегда рядом два члена трибунала: венгр-интернационалист Янош Мохач, страдающий по своей родине сорокалетний человек с белым, без кровинки, лицом и член коллегии губчека Вешняков. Первый уже работал в военном трибунале при Пятой армии, и с ним можно было посоветоваться по всем делам, однако душевного разговора не получалось, поскольку Янош Мохач откровенно мог лишь страдать о поруганной революции на родине. Мог даже заплакать, не стесняясь слез, отчего лицо его становилось еще белее, словно гипсовая маска. Егор же Вешняков, двадцатипятилетний молодцеватый парень из бывших вахмистров, навававшийся в империалистическую и гражданскую, привыкший к революционному лексикону, всегда говорил резко, однозначно и коротко: «Кон-нтр-ра!» И при этом жесткая, болезненная судорога сводила его сухое лицо. Казалось, этим словом, как каблуком, он вдавливал человека в землю. Андрей внутренне вздрагивал, когда Вешняков, играя желваками, выбрасывал из себя очередное жаргонное словцо, и боялся смотреть ему в глаза. Однако скоро случилось почти невероятное: член коллегии губчека Егор Вешняков влюбился в Юлию! И сразу как-то расслабился, перестал хрустеть пальцами, сжимая кулаки, и если произносил любимое словечко, то как-то вымученно, на вдохе.

И еще было много разных людей, но ни у кого не возникало желания откровенничать с председателем тройки.

Получив назначение из державных рук, Андрей тем самым будто начертил бережный круг окрест себя. Только круг этот не спасал от нечистой силы – напротив, лишал его людей. Оставшись в одиночестве, он вспоминал, как они встретились с Сашей в разрушенном доме и как проговорили всю ночь. Пусть непростым был разговор, зато как легко и вольно проливалась душа вместе со слезами, как сладко было произносить полузабытые слова...

Часто Андрей думал о матери. Найти ее не составляло труда: есаульский женский монастырь, по слухам, стоял никем не тронутый. Однако останавливало последнее письмо, посланное из камеры смертников. Воскреснуть? Но в каком образе?.. Да и нужно ли объявляться? Маменька ушла от этого мира в обитель и, по сути, отказалась от всего, что связывало ее с земной жизнью. Она искала покой и нашла его. Так нужно ли еще раз, после «смерти», тревожить ее «воскресением»? И если разобраться, то и он ушел от мира, в котором жил неустойчиво, но все-таки привычно. Ушел и обвел вокруг себя бережную черту...

Но при всем этом душой он чувствовал, что кем бы и каким бы ни был он – маменька примет и обрадуется. Да как же ей на глаза являться? Что сказать ей?.. Чувствовал и будто готовился к исповеди, накапливая в себе покаянные слова и слезы. Особенно много их приходило по ночам, если случалось ночевать «дома» – в Красноярске, в каменном особняке с зарешеченными окнами, который городские власти выделили под ревтрибунал и жилье. Он лежал с открытыми глазами, слушал, как сопит в смежной комнате телохранитель Тауринс, как шаркает ногами по земле часовой за окнами, и порой ему казалось, что он плачет. Что затвердевшее в коросту нутро размякло и освободившиеся слезы текут по щекам. Тогда он щупал пальцами лицо, глаза – все было сухим и горячим, как при болезни.

Однажды ночью Андрей очнулся от собственного крика и в предрассветных сумерках увидел, что на постели сидит Юлия.

– Что?! – вскинулся он. – Почему вы здесь?

– Вы кричали. – Она потрогала его лоб. – Мне показалось, вы больны...

– Нет, я здоров! – Он сбросил ее руку и, завернувшись в одеяло с головой, отвернулся к стене, однако тут же привстал. – Что я кричал? Что?!

Тауринс больше не сопел, видимо, прислушивался.

– Бессвязное что-то, – сказала Юлия. – И маму звали...

– Но маму же, а не вас! – грубо крикнул Андрей. – Уходите отсюда!

Наутро он извинился перед ней и тем самым будто признал свою слабость. На какой-то миг возникло желание исповедаться, отбросить всю подозрительность и недоверие, однако он спохватился и взял себя в руки. Конечно же, Юлия была подослана Шиловским, чтобы всюду контролировать его, знать о каждом шаге, о каждой его мысли, написанной ли в протоколах или высказанной вслух. Она только и ждет, когда Андрей расклеится и начнет откровенничать. Еще в поезде, приглядываясь к своим спутникам, он поделил их так: Тауринс приставлен, чтобы осуществлять внешний контроль, выслеживать, с кем и по какой причине встречается, Юлия, с ее от природы данным искусством, обязана следить за его умом и сердцем. Два ангела-хранителя стояли за плечами...

Он стал бояться спать по ночам, и если засыпал, то ненадолго и тут же вздрагивал оттого, что начинал говорить. Промучившись так несколько дней, он старался поехать куда-нибудь и отоспаться в поезде. Председателю тройки выделили личный вагон, который все время стоял в тупике на станции и по первому требованию мог быть прицеплен к любому составу. Дорога укачивала Андрея, облегчала душу, хотя часто снился сон-землетрясение, впервые увиденный еще в «эшелоне смерти».

Едва вернувшись из Канска, Андрей оставил в Красноярске членов трибунала изучать дела, переданные из губчека, а сам отправился в Ачинск. Последним Декретом ревтрибуналу давалось право проверять следственные действия чрезвычайек и инспектировать тюрьмы. Военно-революционному трибуналу, пока он действовал на освобожденных территориях, заниматься этим было некогда, местные ЧК с трудом поспевали управляться с текущими делами, а попросту выносить приговоры и по законам военного положения расстреливать: для колчаковцев, взятых с оружием в руках либо не сдавших его по приказу, для контрреволюционеров, саботажников и дезертиров других приговоров не было. Ко всему прочему, вдоль железной дороги и в глубинках разгуливали бандитские шайки грабителей, мародеров и бывших партизан, отказавшихся разоружаться. Однако в тюрьмах находились сотни людей, арестованных по самым разным причинам, но без предъявленного обвинения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.